ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА



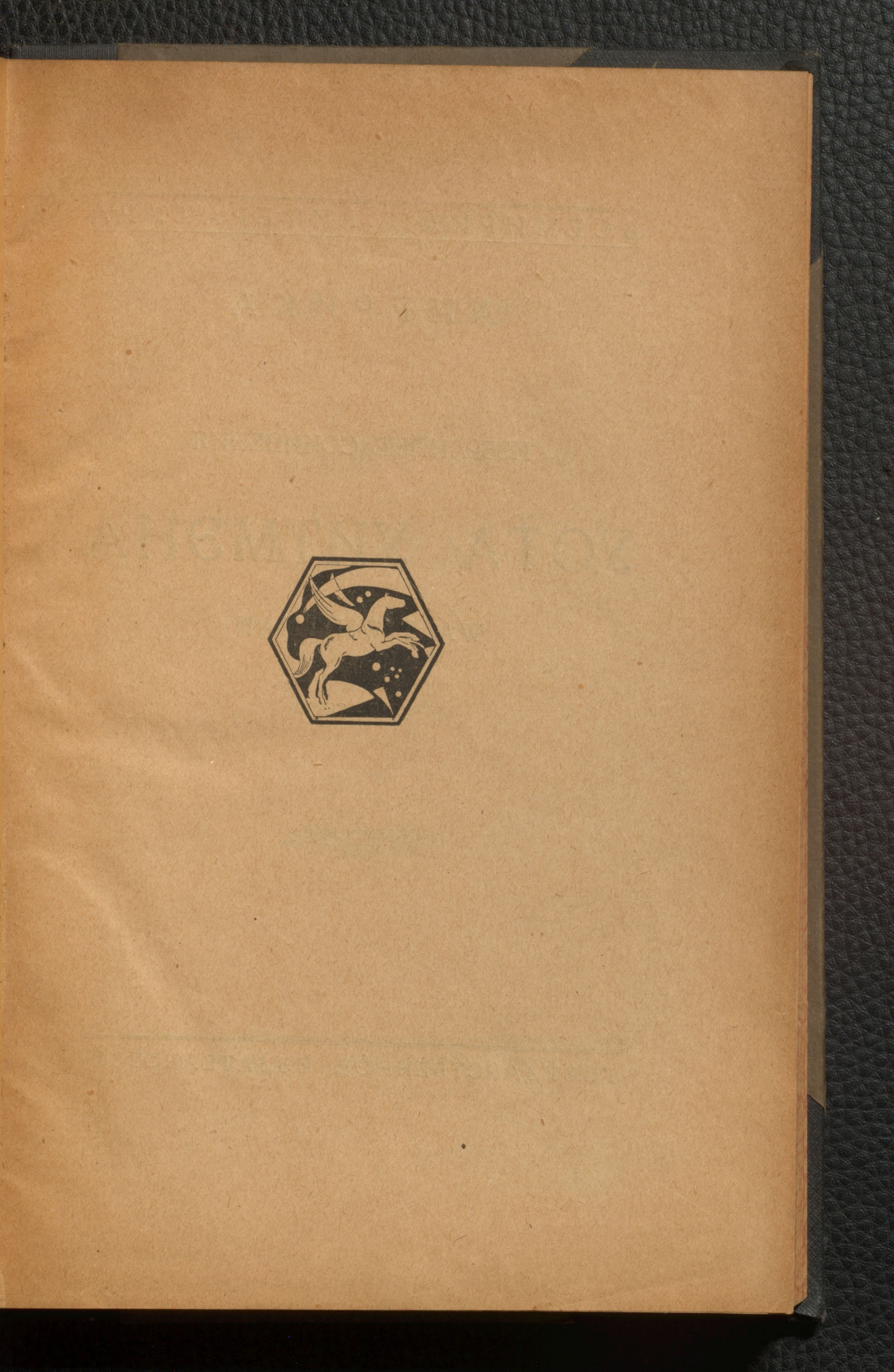
УОТ УИТМЭН

ЛИСТЬЯ ТРАВЫ





ПЕТЕРБУРГ
MCMXXII





Р. В. Ц.—№ 312.
Напечатано в количестве 4000 экз.

ЛИСТЬЯ ТРАВЫ

EAVLES OF GRASS

1855—1890

ПРЕДИСЛОВИЕ

Эта книжка является пятым изданием моего труда о Уоте Уитмэне. Ныне я значительно расширил вступительную статью, перевел заново многие стихотворения Уитмэна, впервые дал несколько образцов его прозы и дополнил новыми заметками критико-библиографический отдел, помещенный в конце.

При написании статьи, характеризующей жизнь и творчество Уитмэна, я пользовался следующими английскими и американскими книгами:

1) „Walt Whitman". A Study by John Addington Symonds. London (George Routhledge & Sons). „Уот Уитмэн" Этюд Джона Эддингтона Саймондса. Горячо написанная апология Уитмэна. Опыт систематизации философских воззрений Уитмэна. Саймондс—известный английский критик и поэт (1840—1893), автор книги „Ренессанс в Италии".

2) „Days with Walt Whitman", by Edward Carpenter London (George Allen, Ruskin House). Эд. Карпентер. „Дни с Уотом Уитмэном". Э. Карпентер, поклонник и ученик Уота Уитмэна, подробно описал свои паломничества к нему в 1877 и в 1884 годах, встречи и разговоры с ним. К книге приложены статьи, „Уитмэн, как пророк", Поэтическая форма „Листьев Травы" „Дети Уота Уитмэна", „Уитмэн и Эмерсон".

3) „Whitman". A Study by John Burroughs. Boston and New-York (Houghton, Mifflin & Company). Джон Борроз „Уитмэн". Многословная, пухлая, водянистая книга. Джон Борроз (род. 1837 г.) плодовитый американский писатель, друг Уитмэна писал, главным образом, о природе, о цветах и птицах. Его специальность—описательная зоология и ботаника.

4) Walt Whitman, his Life and Work, by Bliss Perry. London (Archibald Constable). Блисс Перри. „Уот Уитмэн, его жизнь и творчество". Автор относится к Уитмэну чуть-

чуть свысока и стремится разрушать те легенды, которыми в последнее время окружили имя Уитмэна такие идолопоклонники, как Ричард Бёкк и др.

5) With Walt Whitman in Camden, by Horace Traubel. Boston (Small, Maynard & Co). Горэс Троубел „С Уотом Уитмэном в Кэмдене". Огромная книга, дневник преданного друга Уота Уитмэна, где подробно записаны ежедневные беседы с поэтом.

6) Walt Whitman, by Isaak Hull Platt. Boston (Small, Maynard & Co). Исаак Платт. „Уот Уитмэн". Маленькая, дельная книжка. Пригодилась бы для Павленковской серии „Жизнь замечательных людей".

7) Studies in Literature, by Edward Dowden LL. D. London (Kegan Paul, Trench, Trübner & Co). Эдуард Дауден. „Литературные этюды". Почтенный автор исследования о Шекспире посвятил Уитмэну большую ученую статью „Поэзия демократии" (Стр. 468—523).

8) Familiar Studies of Men and Books, by R. L. Stevenson. London. (Chatto & Windus). Роберт Стивенсон. „Непринужденные заметки о людях и книгах".



УОТ УИТМЭН.

I

В газетах появилось об'явление:

Вниманию любителей трезвости!
„ФРАНКЛИН ИВЕНС, ИЛИ ГОРЬКИЙ ПЬЯНИЦА“,
современная повесть
знаменитого американского автора.
Посвящается всем Обществам Трезвости, всем ненавистникам пьянства. Читайте и восхищайтесь! Талант автора и захватывающий сюжет ручаются за несомненную сенсацию! Повесть написана специально для журнала **„Новый Свет“** одним из
ПЕРВОКЛАССНЫХ РОМАНИСТОВ АМЕРИКИ
дабы вырвать американское юношество из пасти алкогольного дьявола.

Роман, действительно, вышел хорош, тем более, что знаменитый автор ежеминутно отрывался от рукописи и выбегал вдохновляться в соседний питейный дом под вывеской „Оловянная Кружка“. Глотнув добрую порцию джина, он снова садился за письменный стол и с новым азартом вступал в рукопашную с Дьяволом Спиртных Напитков.

Роман вышел так превосходен, что автор и перед смертью краснел при одном упоминании о нем. Это был его первый роман и, слава Богу, последний. Не потому ли во всех афишах он и назван знаменитым романистом? И кто знает, — не писал ли эти афиши он сам?

Писательство привлекало его смолоду. Девятнадцатилетним подростком он добыл где-то типографские шрифты и сделался в соседнем городишке редактором, сотрудником, наборщиком изумительной ежедневной газеты „Вестник Долгого Острова“, которую на собственной кляче сам же и развозил по окрестностям — в поля, в огороды, на фермы. Это было ему по душе, особенно нравились ему радушные фермерши и их смазливые дочки, но когда ежедневная газета стала выходить еженедельно и грозила превратиться в ежемесячную, издатель рассвирепел и выбросил его прочь, как величайшего тунеядца и лентяя.

Впрочем, тунеядцем и лентяем, кажется, назвал его другой издатель, когда выбрасывал его вон из редакции „Ежедневной Авроры“, куда этот первоклассный романист, не написавший ни единого романа, являлся в цилиндре, с легкой тросточкой, чтобы небрежно просмотреть газеты и снова отправиться гулять. Так он понимал свои обязанности редактора „Ежедневной Авроры“.

Гулять он любил до упоения, — просто шататься по улицам, приплюснуться носом к стеклу магазина и рассматривать хотя бы мыло и свечи, или кружить по огромному городу на крыше допотопного омнибуса. Он писал стихи и повестушки, признаться, довольно бесцветные, и единственный был у него талант: божественной лени. Вы ни за что не умели бы так великолепно весь день напролет проваляться где-нибудь на берегу, решительно ничего не делая. Нужен был особенный дар, чтобы ходить такой медленной поступью в сногсшибательном Нью-Йорке.

Ему как будто даже лень говорить, — так он был скуп на слова. Это в нем, должно быть, нидерландская кровь: его мать была родом голландка. „Суетитесь, кричите, скачите, сломя голову, а я лучше посижу у Пфаффа (в кабачке), помолчу, погляжу“, — такая была у него философия.

Даже деньги не прельщали его: он царственнно брал взаймы у всех. Его темпераменту было в высшей степени свойственно непротивление злу. Даже докуча-

вших ему комаров он не отгонял от себя, охотно отдавая им себя на с'едение.

— Мы, остальные, были доведены комарами до бешенства, — рассказывает один очевидец, — а он на них никакого внимания, словно они не кусали его.

Протест, негодование, гнев были чужды его темпераменту.

И вечно он напевал, беспрестанно мурлыкал какую-нибудь мажорную песню, но говорил очень редко, по целым неделям ни слова, хотя слушателем был превосходным. Никогда ни на кого не сердился, никогда ни на что не жаловался. Ко всему был равнодушно-радушен.

И ему уже было за тридцать, и голова у него поседела, а никто, даже он сам, не догадался, что он — гений, великий человек.

Приближаясь к четвертому десятку, — так неторопливо и мирно, — он не создал еще ничего, что хоть немного превысило бы посредственность: вялые рассказцы в стиле Эдгарда По, которому тогда все подражали, с обычными аллегориями и Ангелами Слез, да уличный роман против пьянства, да гладкие, забываемые вирши, которые, впрочем, янки-редактор напечатал однажды с таким американским примечанием: „Если бы автор еще полчаса поработал над этими строчками, они вышли бы необыкновенно прекрасны"; да нескладные публичные лекции, да мелкие газетные листки, которые он редактировал, истощая терпение издателей, — вот и все его тогдашние права на лавровый венок от современников. Раз он даже поехал на гастроли в Новый Орлеан, сотрудничать в газете „Полумесяц", но с обычным, должно быть, успехом, ибо не прошло и трех месяцев как он снова сидел у Пфаффа, вспоминая новоорлеанские напитки:

— Какой там чудесный кофе! Какие восхитительные вина! Какой дивный французский коньяк!

О, золотая посредственность! Недаром ты золотая: в тебе столько уюта и комфорта; блаженны, кому ты досталась в удел! Так без всякого плана прожил он половину жизни, не гоняясь ни за счастьем, ни за сла-

вой, довольствуясь только тем, что само плыло к нему навстречу, постоянно сохраняя такой вид, будто у него впереди еще сотни и тысячи лет, и, должно быть, его мать не раз вздыхала: „Хоть бы Вальтер женился или поступил на место куда-нибудь“, — и обиженно роптали его братья: „Все мы работаем, один Вальтер бездельничает, валяется до полудня в кровати“, — и суровый отец, фермер-плотник, заставил тридцатипятилетнего сына взяться за топор и пилу: „это повыгоднее статеек и лекций“ (действительно, оказалось выгоднее строить и продавать дома, деревянные фермерские коттеджи), — когда вдруг обнаружилось, что этот заурядный сочинитель и едва ли талантливый плотник есть гений, пророк, возвеститель нового евангелия.

Но как же это случилось? Где, на каком Фаворе произошло его преображение? И кто возвестил изумленному миру, что явился новый Исайя?

Конечно, он сам, — еще бы! — он сам написал о себе в разных газетах и журналах восторженно-хвалебные статьи. Не ждать же ему, в самом деле, чтобы разверзлись небеса, и ангелы запели оттуда, указуя на него перстами. Вместо ангелов, у современных пророков есть газетчики, репортеры, интервьюеры, и если они не являются, — нужно (нечего делать!) петь осанну себе самому; и вот, почтенный седой человек пишет несколько восторженных отзывов о своей собственной книге и ходит по знакомым редакциям:

— Будьте добры, напечатайте.

И диво: даже эта, почти шулерская, проделка вышла у него величавой и барственной, без юрких, унизительных ужимок. Даже в орган черепословов, в „Американский Вестник Френологии“, он всучил о себе заметочку, — не заметочку, а целую статью! — даже в захолустную газетку „Brooklyn Times“! Конечно, он этих статей не подписывал, чтобы казалось, будто сами газеты встретили его такими единодушными гимнами. Вот что, например, он писал о себе в одном толстом ежемесячном журнале:

„Наконец-то явился среди нас настоящий американский бард! Довольно с нас жалких подражателей;

отныне мы становимся сами собой... Отныне мы сами зачинаем гордую и мощную словесность! Ты во-время явился, поэт!" („Democratic Review", 1855, IX [1]).

А в бруклинской газете „Times" он расхвалил себя, как сваха — жениха:

„Дюжий, широкоплечий! Чистейшая американская кровь! Тридцати шести лет от рождения!.. Ни разу не обращался в аптеку!.. Лицо загорелое!.. Во всю щеку румянец! Борода кое-где с сединой! Пользуется всеобщей любовью!.. Возбуждает большие надежды". („Brooklyn Daily Times" от 29-го сентября 1855 г.).

И словно приказчик, зазывающий в лавку, расхваливал себя, как товар:

„Настоящий, не имитация! Не заграничный, а наш, американский" [2]).

И в довершение всего приложил к этой книге свою дагеротипную карточку: седой мужчина, с расстегнутым воротом, руки в боки, шляпа набекрень, усиленно тщится принять вызывающе-спокойную позу.

Прежнего цилиндра уже нет. Едва этот янки затеял протиснуться в первые ряды литературы и затмить всех Теннисонов и Лонгфелло, он завел и соответственный костюм: долой галстук, манишка расстегнута, чтоб была видна волосатая грудь, платье голубое или пепельно-синее. Чтобы все изумленно спрашивали:

— Ради Бога, кто это такой?

Но ни этот костюм, ни реклама не помогли его книге. Был продан лишь один экземпляр. А газеты писали о ней:

„Эта книга — сплошной навоз".

„Автор столько же смыслит в поэзии, сколько свинья в математике".

„Дать бы ему тумака!" — предлагало „Westminster Review".

„Здесь нужна хорошая плеть!" — подхватывал лондонский „Critic".

---

1) Bliss Perry. „Walt Whitman", London. 1906, p. 49.
2) „In re Walt Whitman", Philadelphia. 1893.

То и дело почтальон приносил автору новые экземпляры его книжки. Это те, кому он ее посылал, с негодованием возвращали ее. Знаменитый писатель Джемс Рассэл Лауэлл даже кинул ее в огонь. Когда же однажды пришло ласковое и любезное письмо от другого знаменитого писателя, автор (конечно, не спросив позволения), взял это интимное чужое письмо, полностью перепечатал его в своей книге и даже на переплете оттиснул крупными золотыми буквами особенно лестный комплимент.

Конечно, он тут же напечатал, что все первое издание распродано. А между тем, повторяем, нашелся лишь один такой чудак, который приобрел эту дикую книжку.

И все же эта дикая книжка была замечательная книжка. Существуют десятки тяжелых томов, которые написаны о ней. И есть люди, посвятившие всю жизнь ее изучению.

— Мудростью она выше всего, что доселе создавала Америка! — воскликнул мудрц Эмерсон. — Я счастлив, что читаю ее, ибо великая села всегда доставляет нам счастье.

— Ни Гёте, ни Платон не действовали на меня так, как она! — свидетельствует историк Саймондс, а Эдуард Карпентер, которого так чтил наш Толстой, написал поэту в умилении:

„Вы сказали слово, которое ныне у Самого Господа Бога на устах!“ [1]).

И под обаянием поэзии Уитмэна сочинил в восьмидесятых годах огромную книгу стихов „Навстречу демократии“ (Towards Democracy), в которой, между прочим, говорит: „О влиянии Уитмэна на мое творчество я здесь не упоминаю по тому же, почему я не говорю о влиянии ветров или солнца. Я не знаю другой такой книги (за исключением, быть может, сонат Бетховена), которую я мог бы читать и читать без конца Мне даже трудно представить себе, как бы я мог жить без нее! Она вошла в самый состав моей крови...

[1]) H. Traubel. With W. W. in Camden. Boston, p. 168.

Мускулистый, плодородный, богатый, полнокровный стиль Уота Уитмэна делает его на веки веков одним из вселенских источников нравственного и физического здоровья. Ему присуща широкость земли".

И Суинберн, последний из гениев английской поэзии, к сожалению, столь мало известный в России, взывал к Уитмэну в пламенной оде:

Хоть песню пришли из-за моря
Ты, сердце свободных сердец!

„Твои песни громче урагана... Твои мысли — как громы; твои звуки, словно мечи, пронзают сердца человеческие и все же влекут их к себе, — о, спой же и для нас твою песню"... [1]).

„Он обрадовал меня такою радостью, какою не радовал уже многие годы ни один из новых людей, — писал Бьернстерне-Бьернсон. — Я и не чаял, чтобы в Америке еще на моем веку возник такой спасительный дух! Несколько дней я ходил сам не свой под обаянием этой книги, и сейчас ее широкие образы, нет-нет, да и нагрянут на меня, словно я в океане, и вижу, как мчатся гигантские льдины, предвестницы близкой весны!" (H. Traubel. With. W. W. etc, p. 274).

Это слово, осчастливившее лучших тогдашних людей, и Генри Джорджа, и Олкотта, и Торо, было титаническое слово — демократия. Их очаровало, конечно, не то, что вот явился поэт-демократ, — таких и без него было много, — их увлек тот широчайший размах его стихийной фантазии, тот почти нечеловеческий экстаз, которым он преобразил демократию в мировую, космическую силу, в какое-то новое солнце каких-то новых небес, и всю вселенную увидел по-новому — глазами этих новых, грядущих людей.

Еще в 1852 году священник-демократ Фредерик Робертсон [2]) взывал к английским рабочим: „Рабочие, мы ждем от вас поэзии; вы живете так правдиво и

---

[1]) Songs before Sunrise, pp. 143, 144.

[2]) Фредерик Уильям Робертсон (1816 — 1853), один из талантливейших проповедников и духовных писателей Англии. Его проповеди и статьи читаются до сих пор и выходят повторными изданиями.

смело. Поэзия грядущего должна принадлежать только вам... В высших слоях она давно измельчала, износилась, стала сентиментальной и болезненной. Феодальная аристократия и все, что с ней связано, разные турниры да замки, давно уже исчезли и выродились. Последние звуки феодальной поэзии отзвучали на струнах Вальтер Скотта. Байрон пропел ей отходную. Она умерла, но нежность, но героизм, но рыцарская доблесть живут и доселе, и нет для них более песен. Песни эти придут из рабочей среды. Рабочие! наши предки-воители пели вам о величии, героизме и преданности, что таились в дыму ратного поля, встаньте же и поведайте нам о том „духе живе", что сокрыт в дыму фабричных труб, — о поэзии героизма, терпения, труда, о поэзии рабочих людей".

Уитмэн был один из немногих предначертателей этой долгожданной поэзии. Но, конечно, фабричными трубами не исчерпывается поэзия демократии. Многие думают, что стоит только сентиментально воспеть мозолистые руки рабочего, или молот, или красное знамя, и ты станешь демократическим бардом. Тем-то и значителен Уитмэн, что он первый ощутил демократию, как явление планетарное, космическое, выходящее далеко за пределы политических и социальных программ современного пролетарского класса. Человек созерцательного, „индусского" склада души, он видел пафос демократии не в политике, а в какой-то новой, еще не возникшей религии:

Я говорю, что вся земля и все звезды в небе — для религии...
Я говорю, что подлинное, вечное величие Штатов — должна быть их религия,
Иначе нет у них подлинного, вечного величия...

И второе великое слово было сказано им — Наука.

Наука и Демократия — две неизбежные и роковые тропы на будущих путях человечества! Ослепительные откровения науки и всемирное торжество демократии, эти два величайших знамения современной мировой истории, создадут в человеке новую душу и взлелеют в нем новые чувства, неведомые прежним векам.

Конечно, быть поэтом науки — это не значит сочинять сонеты и стансы об икс-лучах или радии; это значит—впитать в свою плоть и кровь, в самые недра своего существа то научное постижение мира, научное жизнеощущение, — бессознательное, почти инстинктивное, — которое незаметно, как воздух, охватывает современную душу, и пережить это новое чувство, как свою личную радость и горе, претворить его в эмоциональную лирику.

До красоты, всем зримой и доступной,
Сокровища науки доводи, —

такова ныне задача поэта; темный полуневежда-янки понял это более полувека назад — понял и на деле показал, какие богатства поэзии таятся в современной науке, и с дерзостью варвара создал новые, небывалые формы для небывалых своих вдохновений, но лишь немногие избранные услышали его тогда, и только в последние годы человечество начинает догадываться, какого великого пророка оно чуть не забросало камнями.

Теперь его книгу прочла вся Европа. Его имя стало мировым, как имя Ибсена или Ницше, и не знать его считается стыдом. Возникают специальные журналы для проповеди его идей, создаются общины, колонии его учеников и последователей, и только у нас, в России, он почти незнакомец.

II

Самое странное в биографии Уитмэна — это внезапность его перерождения. Жил человек, как мы все, дожил до тридцати пяти лет и вдруг, ни с того, ни с сего, оказался мудрецом и боговидцем. Еще вчера, в задорной статейке, он обличал городскую управу за непорядки на железных дорогах, а сегодня пишет евангелие для вселенского богоносца-демоса! „Это было внезапное рождение Титана из человека“, — говорит один из его почитателей. — „Еще вчера он был убогим кропателем

никому не нужных стишков, а теперь у него сразу явились страницы, на которых огненными письменами начертана вечная жизнь. Всего лишь несколько десятков подобных страниц появилось в течение веков сознательной жизни человечества“. Сам Уитмэн об этом своем перерождении свидетельствует так:

Скажи, не приходил к тебе ни разу
Божественный, внезапный час прозрения,
Когда вдруг лопнут эти пузыри
Богатств, книг, обычаев, искусств,
Политики, торговых дел, любви,
И превратятся в полное ничто? [1]).

К нему этот „божественный час прозрения“ пришел в одно июльское ясное утро в 1853 или 54 году:

„Я помню, — пишет он сам, — было прозрачное летнее утро. Я лежал на траве, и вдруг на меня снизошло такое чувство покоя и мира, такое всеведение, выше всякой человеческой мудрости, — и я понял, что Бог — мой брат, и что его душа — мне родная, и что ядро всей вселенной — любовь“.

Но мы не верим в такие мгновенные перерождения: Савл, чтобы сделаться Павлом, должен быть Павлом и раньше. Когда этот беспечнейший янки по целым месяцам валялся на песке, кто скажет, какие вещие чувства, без очертаний и форм, невнятные ему самому, клубились, как туман, у него в душе? Ведь впоследствии он сам говорил, что где-то в тайной лаборатории мозга его книга готовилась исподволь, но что он и сам о ней не знал ничего и даже весьма удивился, когда из своего тайника она нечаянно вышла на свет. Хоть мы и не можем понять, почему из мелких зеленых листочков вдруг вырастает огромный пунцовый цветок, такой непохожий на них, — но мы знаем, что он весь из их же сердцевины, создан *ими*, подготовлен *ими*, где-то издавна в них таился, чтобы вдруг в одну ночь возникнуть таким великолепным сюрпризом! Так всегда возникают

---

[1]) Подробно об этом перерождении см. „Космическое сознание“ д-ра Ричарда Мориса Бёкка. Петроград, Книгоиздательство „Новый Человек“, стр. 229 — 247.

пророчества: огненные языки Святого Духа, сошедшие внезапно на апостолов, незримо горели над ними и раньше. Это ничего, что Уот Уитмэн от юности скуден талантами: таланты только мешали бы его внутреннему самоуглублению. Гений не нуждается в талантах. Или пророки должны быть блестящи, эффектны, находчивы? Любой нью-йоркский репортер сразил бы Уитмэна своими талантами; пророкам свойственна именно такая неповоротливость мысли, банальной и даже пресной, без юмора, без малейшей иронии, чтобы торжественно, молитвенно и строго, как некую томительную литургию, воспринимать бытие. Египетские мистики, персидские суфиты, китайские таоисты, Упанишады и Веды сродни его „Листьям Травы". Эдуард Карпентер в оригинальной статье берет отдельные строки священных индусских книг, Лао-Си и Нового Завета и, сопоставляя с такими же строками Уитмэна, демонстрирует их однородность. Ричард Морис Бёкк ставит Уитмэна рядом с такими боговидцами, как Иисус Христос и Будда. Правда, древние религиозные гении глубже, вдохновеннее Уитмэна, но он шире их всех, универсальнее: как бы те ни воспаряли над миром, они все же были ограничены кастами, предрассудками, расами, почитали свое племя единственно-богоугодным, единственно-богоизбранным, а всех остальных гнушались, как варваров, язычников, неверных, и даже Иисус из Назарета, по домыслам ученых богословов, предназначил свое Божье Царство только для еврейского народа и верил, что сам он ниспослан лишь к агнцам дома Израилева. Иисусово Божье Царство было национально-еврейское царство, и язычники были исключены из него [1]). Но не напрасно же мы обмотали всю землю стальными нитками рельсов, не напрасно все наши касты, сословия, расы стали единым демосом, единым гигантским телом, раз-

[1]) См. напр., книгу знаменитого немецкого богослова проф. Отто Пфлейдерера „Die Entwicklung des Christentums" („Развитие христианства", 1907). Хотя, с другой стороны, в Евангелии от Марка говорится: „и сказал им: идите по всему миру и проповедайте евангелие всей твари" (т. е. всем людям и даже животным). Мрк. XVI, 15; см. также Посл. к Римл. VIII, ст. 19-22.

легшимся на четырех континентах, с газетами, телеграфами, биржами: этому гигантскому телу подобает такой же дух, и вот, как первое знамение нового, небывалого века, грандиозная поэзия Уитмэна, в которой так полно отпечатлелась эта всеоб'емлющая широта. Как демос вмещает и поглощает в себе все нации, климаты, возрасты, мировоззрения, нравы, религии, так и демократический бард во всем мире не отвергнет ничего и никого:

Я никого не оставил за дверью, я всех пригласил,
Вор, паразит и содержанка — это для всех призыв.
Раб с отвислой губой приглашен,
И приглашен сифилитик!

Прежние века и не мечтали о такой вселенской широте. „Я и краснокожий, и негр, и каждая каста — моя, и каждая вера — моя, я фермер, джентльмен, механик, художник, матрос и квакер, преступник, мечтатель, буян, адвокат, священник и врач“... Это ощущение своей многоликости, многоименности, своего тождества со всем и со всеми доведено у него до восторга. Здесь главная основа его творчества, здесь источник его вдохновений.

III

Такую широту восприятий, несомненно, дала ему обстановка, среди которой прошла его жизнь.

Он родился 31 мая 1819 года на пустынном и диком Долгом Острове, на берегу океана, в малолюдном поселке Уэст Хиллз („Западные Холмы“). Природа, окружавшая его, была широка и размашиста: океан, многоверстное прибрежье — и небо. С детства перед глазами ребенка ничего случайного и мелкого: безмерные дали, огромные волны. Природа, как будто нарочно, явилась ему в самом грандиозном своем выражении.

Не только природа: тут же, по соседству был Нью-Йорк, столь же грандиозное воплощение культуры. Стоило поэту захотеть, и он через два-три часа из безлюдной пустыни попадал в гущу кипучей толпы: из одного океана в другой. В этом главная особенность

его биографии: он был одновременно и пустынником и гражданином всемирного города; природа и цивилизация — в самых колоссальных своих формах — были с детства одинаково близки ему. Всю свою юность Уитмэн прожил в Нью-Йорке, но не было такой недели, когда он не покидал бы его и не уезжал бы к себе — полежать на соленом песке своего Долгого Острова.

Долгий Остров (по-английски Лонг Айлэнд) длинная стомильная полоса земли, тесно примыкающая к тому островку, на котором расположен Нью-Йорк; для жителей Нью-Йорка Долгий Остров — любимейшее дачное место, то же, что для петербуржцев Финляндия. Там огороды, поля, множество устриц, отличная рыбная ловля.

Там уже двести лет жили деды и прадеды Уитмэна — патриархальные, крепкие семьи голландских и английских поселенцев, — полупомещики, полукрестьяне. Жили сытно, работали дружно, книг не читали, любили лошадей, ходили в церковь, пили эль, доживали до глубокой старости.

Мать поэта до конца жизни осталась неграмотной. Она была по происхождению голландка; ее девичья фамилия Ван Вельзор; кроме Уота, у нее было восемь человек детей. Когда мальчику исполнилось пять лет, его отдали в Бруклинскую школу. (Теперь Бруклин часть Нью-Йорка, тогда это был самостоятельный маленький город). Учился Уот ни хорошо, ни плохо. В десять лет он поступил на службу, — рассыльным в контору стряпчего. Едва ему исполнилось тринадцать, его отдали в учение, в типографию. Отец хотел, чтобы из него вышел наборщик. Через два-три года Уот стал понемногу писать в тех газетах, которые он набирал: сначала репортерские заметки, потом рецензии о книгах и театре. К чтению книг он пристрастился с детства. Читал Вальтер-Скотта, Шекспира, „Тысячу и одну ночь“, — но когда у него не было книг, отлично обходился без них. На шестнадцатом году он увлекся почему-то ораторским искусством, записался в клуб красноречия, но и здесь не выказал талантов. Потом попробовал было учительствовать в мелких городишках

своего Долгого Острова, но через несколько месяцев, в 1836 году, уехал в Нью-Йорк и снова превратился в наборщика. В 1839—1840 гг. он, как уже было сказано— издавал газетку в Гентингтоне, в двух шагах от родного поселка.

В начале сороковых годов в Нью-Йорке процветала итальянская опера; приехали знаменитые певцы, Рубини, Альбони, Виардо, — те самые, которые с таким огромным успехом подвизались и у нас в Петербурге. Уитмэн не пропускал ни одного спектакля: в качестве рецензента он пользовался бесплатным билетом. Жил он пролетарием, дружил с чернорабочими и паромщиками. Другом он был верным и преданным. Однажды какой-то кучер, — возница огромного омнибуса, — упал с козел и получил ушибы. Несчастного отправили в больницу, его семья осталась бы без хлеба, если бы Уот не заменил его на козлах. Два месяца поэт ездил кучером, с вожжами в руках, по Бродуэю — и каждую субботу отдавал жене больного всю свою недельную выручку.

Вообще, у него была склонность к экзальтированной, преувеличенной дружбе. В этой чрезмерной нежности ему мерещился новый культ демократического единения людей. Когда в 1861 году началась война за освобождение негров, эта нежность вылилась в такой изумительной форме, что сделалась достойна навеки остаться памятником демократической дружбы. Поэт поселился в том городе, куда доставляли раненых, — а их были тысячи и тысячи — и ухаживал за ними три года, ночью и днем, не боясь ни оспы, ни гангрены, ни тифа, среди ежечасных смертей, — стал их сиделкой, духовником, исповедником, братом милосердия, — и жутко читать в его письмах об отрезанных руках и ногах, которые огромными кучами сваливались во дворе, под деревом [1]).

Молчаливый, величавый, медлительный, он уже одним своим видом успокаивал дрожащих умирающих, и те, к кому он подходил на минуту, чувствовали себя осчастливленными. Было в нем что-то магнетическое. Люди

[1]) The Writings of John Burroughs, vol. X, p. 30.

так и льнули к нему. Вот какими словами описывает один врач-психиатр свое первое свидание с ним:

„Что он говорил, — я не помню, я просто опьянел от восторга. Я с несомненностью поверил, что он или божество или сверх-человек. Как бы то ни было, но один этот краткий час, проведенный с поэтом, был решающим, поворотным пунктом всей моей жизни“ [1]).

„Никогда я не забуду той ночи, — пишет один очевидец, — когда я сопровождал Уота Уитмэна в его обходе нашего госпиталя. Госпиталь состоял из коек, поставленных в три ряда, и на каждой койке — больной или раненый. Когда появлялся Уот Уитмэн, на лицах у всех загоралась улыбка, и, казалось, его присутствие озаряло светом то место, где он находился.

„От койки к койке тихим, дрожащим голосом зазывали его страдальцы. Хватали его за руку, обнимали его, встречали его глазами. Того он ободрит словом, тому напишет под диктовку письмо; тому даст апельсинов, конфет, тому щепоть табаку, тому почтовую марку. От иного умирающего он выслушивал поручения к невесте, к матери, к жене, иного ободрял прощальным поцелуем. Казалось, он оставлял какую-то благодать на каждой койке, мимо которой проходил. В ночь его прихода долго горели в этих бараках огни, и герои-мученики беспрестанно кричали ему: „Уот, Уот, Уот, приходи же непременно опять“ („Hew-York Herald“, 1876).

Конечно, он работал безвозмездно; он не принадлежал ни к какой организации по оказанию помощи раненым. Все деньги, которые ему удавалось собрать, он тотчас раздавал больным солдатам.

Сохранилась связка писем, которые Уитмэн в ту пору писал из Вашингтона своей матери; иные не могу не привести:

„Мама. Нынче вечером, 22 июня (1863 года), я все время провел у постели одного молодого парня, по имени Оскар Уильбер, 154-го Нью-Йоркского полка. У него кровавый понос и очень тяжелая рана. Он попросил меня почитать ему Новый Завет. Я сказал:

[1]) Walt Whitman, Fellowship Papers. VI.

о чем прочитать? Он ответил: выберите сами. Я прочел ему те главы, где описаны последние часы Иисуса Христа, и как его распинали. Несчастный попросил прочитать и о том, как произошло воскресение. Я читал очень медленно, так как Оскар совсем ослабел. Чтение утешило его, но на глазах у него были слезы. Он спросил меня: верю ли я. Я ответил: не так, как ты, а пожалуй — и так. Он ответил: вера — моя главная опора. Заговорили о смерти, и он сказал, что не боится ее.— А разве ты не надеешься, что ты будешь здоров? — спросил я его. Он ответил: едва ли. Он спокойно говорил о своем положении. Ранен он тяжело, потерял много крови. Понос доконал его, и я чувствовал, что он почти уже мертв. Он бодрился до последней минуты. Мой поцелуй возвратил мне четырежды. Он дал мне адрес своей матери: миссис Салли Д. Уильбер, Алегханская почта, в штате Нью-Йорк. После этого я еще виделся с ним два или три раза. Он умер через несколько дней".

Вот отрывок из другого письма:

„Мама! Весу во мне двести фунтов, а физиономия моя пунцовая. Шея, борода и лицо в самом невозможном состоянии. Не потому ли я и делаю кое-какое добро в лазаретах, что я такой громадный, волосатый, похожий на дикого буйвола. Здесь много солдат с первобытных окраин — с запада, с далекого севера, вот они и привязались к человеку, который не имеет лакированного, холеного вида бритых столичных франтов".

Уитмэн до конца дней сохранил свой простонародный костюм. Костюм эксцентрический, но чрезвычайно опрятный. Опрятность была страстью поэта; грязь словно не прилипала к нему. Он всегда поражал чистотой своего белья и одежды — словно сейчас из бани: румяный, свежий, изумительно чистый. Здесь опять таки — голландская кровь его матери.

Война за освобождение кончилась. Поэт поступил в чиновники — в Министерство Внутренних Дел, в Вашингтоне. Во главе министерства стоял некий Гарлан. Когда Гарлан узнал, что в числе его новых чиновников есть автор такой безнравственной книги, он велел

уволить его. Чиновника обыскали. Пошарили среди его бумаг и, действительно, нашли эту книгу.

— Прогнать его в двадцать четыре часа.

Пророк величаво ушел обычной медлительной поступью, и скоро отыскал себе новое место — писца в Министерстве Юстиции. Оттуда его не прогоняли, но едва он затеял издать свою книгу, как „Общество для борьбы с развратом“ заявило прокурору Штата, что эта книга подрывает нравственность, и прокурор пригрозил издателю скандальным судебным процессом. Издатель отказался от издания.

Но автор ни минуты не чувствовал, что он мученик, жертва. В защиту его оскорбляемой книги писались кипучие статьи; один талантливый ирландец, О'Коннор, сочинил даже целую брошюру, где, проклиная Гарлана, рыдал над поруганным гением, а поруганный гений в это самое время сидел, быть-может, на улице, на краю тротуара, и уписывал с товарищем арбуз. Прохожие смотрели и смеялись.

— Пусть смеются! — утешался он. — Нам арбуз, а им только смех!

Товарищ гения был кондуктор конки. Всякую свободную минуту они проводили вместе, а в разлуке нежно переписывались.

Это место
я
поцеловал

— писал кондуктору гений в конце одного письма. „Мы сразу полюбились друг другу, — вспоминал потом кондуктор. — Уот так и не покинул вагона, приехав на крайнюю станцию, — а отправился вместе со мною в обратный конец. С тех пор он часто ездил со мною днем — и всегда вечером. Было у нас в обычае, чуть я освобожусь, забредать в один трактирчик, на Вашингтонском Авеню, и там, утомленный, я часто опускал голову на руки и засыпал над столом; а Уот сидел, ждал, наблюдал, молчал, оберегал мой сон и будил меня только тогда, когда заведение закрывалось. Перед вечером я, бывало, приду к Министерству Финансов и

жду, пока он кончит занятия. Тогда мы пускаемся блуждать по городу, часто без всякого плана, куда придется. И так изо дня в день по целым месяцам".

Издав свою первую книгу, Уитмэн забросил топор и навсегда отказался от плотничества. „Я боюсь, как бы не разбогатеть!" — шутил он. Богатство и вправду пугало его, и на всю жизнь он остался пролетарием, верный своей апостольской заповеди:

Ты не должен собирать и громоздить то, что называется богатством,
Все, что наживешь и заработаешь, разбрасывай, куда ни пойдешь!

Летом 1864 года с Уитмэном случилось несчастье. Перевязывая гангренозного раненого, он неосторожно прикоснулся перерезанным пальцем к ране, яд заразы проник к нему в кровь, и вся рука, до самого плеча, воспалилась.

Вскоре воспаление прошло, но здоровье осталось надорванным. В 1873 году Уитмэна разбил паралич, у него отнялась левая половина тела. Он переехал в штат Нью-Джерси, недалеко от штата Нью-Йорк, и поселился в городишке Кэмдене, в нескольких милях от Филадельфии. Хилый и нищий старик, безо всяких надежд на будущее, страдая от мучительной болезни, он, наперекор всему, остался жизнерадостен и светел. Старость, нищета и болезнь не сокрушили его уитмэнизма. Его поэмы, относящиеся к этой поре, остались такими же праздничными, как и созданные в ранние годы:

Здравствуй, неизреченная благость предсмертных дней! —

приветствовал он свою недужную старость.

Впоследствии он неожиданно оправился, и в 1879 году, в апреле, в годовщину смерти Линкольна, прочитал о нем в Нью-Йорке, в одном из самых обширных театров, публичную лекцию — с огромным успехом, а осенью уехал в Колорадо путешествовать по Скалистым горам, но вскоре его здоровье ухудшилось, и последние десять лет своей жизни он провел, прикованный к инвалид-

ному креслу, все такой же благостный, истощающий из себя радость и свет.

О, с каким благоговением женщины штопали ему дырявые носки! Знатные люди из Англии присылали ему шарфы и жилеты. Он милостиво принимал подношения. Со всех концов мира с'езжались к нему паломники: то приедет Оскар Уайльд, то анархист, то бродяга, — он всех принимал по-царски: милостиво, равнодушно-радушно. Благосклонно разрешал он фотографам щелкать вокруг себя аппаратами и улыбкой поощрял своих соседок приносить к нему на квартиру то спаржу, то сливки, то тарелку жаркого, то розы.

Оскар Уайльд, приехав в Америку, в качестве официального эстета, был, как известно, возмущен аляповатым, вульгарным убранством тогдашних американских жилищ. „Одна лишь комната во всей Америке пришлась мне по вкусу, — рассказывал он. — Это та, в которой я увидел Уота Уитмэна. В ней было много солнца и воздуха, а на столе стояла простая кружка с водой“.

„Он — величайший американский поэт!“ — писал миллиардер Карнеги, посылая ему в дар 700 рублей.

„Мы обязаны лелеять и холить этого великолепного старца!“ — писал юморист Марк Твэн, посылая щедрую лепту.

Когда же у великолепного старца собралось достаточно денег, он истратил их изумительным образом: при жизни заказал себе памятник — грандиозный, гранитный, на высоком холме, — и на нем начертал свое имя:

Уот Уитмэн

и стал терпеливо ждать, когда этот монумент пригодится. Но смерть долго не приходила к нему. Умирал он так же медленно, как жил. Уж его разбивал паралич — и раз, и другой, и третий, а все не мог одолеть.

Когда, наконец, он скончался (26 марта 1892 года), большие толпы народа пришли провожать его гроб. Священников не было, а просто один из друзей прочитал над могилой отрывки из разных священных книг:

из Библии, Корана, Зенд-Авесты, Конфуция, а также из книги того великого барда-пророка, которого они хоронили.

Что же это за священная книга? В чем же ее пророчества? Чем она так обрадовала весь современный мир?

IV

Эта книга называется: „Листья травы“.

Человечество издавна ждало ее, и теперь, особенно в России, эта книга насущно нужна.

„Хочется нам или нет, — читаем в одной давнишней статье, — но на-днях, не сегодня-завтра, нам предстоит неизбежно встретиться лицом к лицу с демократией и принять ее так или иначе. В Европе, как и в Америке, источники былых вдохновений иссякли. Классическая древность и средневековая романтика уже не могут служить настоящей пищей для искусства. Искусство и литература, если они хотят удержать свое прежнее место, неизбежно должны примениться к этим новым измененным условиям. Они должны обрести новую веру, — не в ту или иную эстетику, не в тот или этот стиль, тот или этот ритм, а в свою миссию, в свое назначение: воплотить все могущество нового века, его религию и его сущность с тою мощью, как некогда эллинские скульпторы воплощали язычество, а итальянские художники средневековый католицизм“.

Эту грандиозную задачу взялся исполнить Уитмэн. Он первый постиг и высказал, что у пробудившейся мировой демократии должен же быть хоть под спудом какой-то свой религиозный пафос, религиозный экстаз, и первосвященником этой вселенской религии дерзостно провозгласил себя. Только этой потаенной религией для него и дорога демократия, и когда порою ему чудилось, что, при громадных успехах чисто вещественного благоденствия, она не осуществляет своих религиозных возможностей, он готов был отвернуться от нее. „Похоже, что кто-то наделил нас огромным телом, а души оставил очень мало, а то и совсем не оставил“,

писал он в такие минуты. Героическая борьба трудовой демократии из-за житейских благ оставляла его равнодушным: митинги, партии, прокламации, стачки никак не отразились в его книге. „По-твоему, милый друг, демократия это что-то такое, что нужно для выборов, для политики, для разных партийных кличек и больше ни для чего! А по-моему, настоящая роль демократии начнется только тогда, когда она пойдет дальше и дальше... Подлинное, вечное ее величие должно быть в ее религии, иначе нет у нее никакого величия“.

В чем же религия Уитмэна?

Он не забывал не на миг, что вокруг — мириады миров, и позади — мириады столетий. Наша земля лишь пылинка в вечно-струящемся Млечном Пути. „Я вижу: великое круглое чудо катится через пространство“! В каждой капле он видел океан, в каждой секунде он чувствовал вечность. Никаких подробностей, малостей. У него душа — как телескоп: знает только дали и шири. „Я лишь точка, лишь атом в плавучей пустыне миров“ — таково его постоянное чувство.

Цветы у меня на шляпе — порождение тысячи веков

Самых цветов он не видит, — какие у них лепестки, завитки, — зато осязательно чувствует те безмерности и беспредельности, которые в них воплотились. Не даром у него так часты слова: миллионы, триллионы, миллиарды.

— Триллионы весен и зим мы уже давно истощили, но в запасе у нас есть еще триллионы и триллионы еще... Миллионы солнц в запасе у нас.

— Эта минута добралась ко мне после миллиарда других. Нет лучше ее ничего.

Миллион — единица его измерений. Этой мерой мерил доныне лишь Бог. Вот он смотрит на вас, но видит не вас, а ту цепь ваших потомков и предков, в которой вы — минутное звено. Спросите у него, который час, и он ответит: вечность. Я еще не встречал никого, кто бы так остро ощущал изменчивость, текучесть, бегучесть вещей, кто был бы так восприимчив

к извечной динамике космоса. „Нет ни на миг остановки, и не может быть остановки. Если бы я и вы, и все миры, сколько есть, и всё, что на них и под ними, снова в эту минуту свелись к бледной текучей туманности, это была бы безделица при нашем долгом пути. Мы вернулись бы снова сюда, где мы стоим сейчас, и отсюда пошли бы дальше, все дальше и дальше. Несколько квадрильонов веков, немного октильонов кубических верст не задержат этой минуты, не заставят ее торопиться: они — только часть, и все — только часть. Как далеко ни смотри, за твоею далью есть дали. Считай, сколько хочешь, — неисчислимы года". Такие ощущения бывают у каждого, но только мгновениями. У него же они были всегда. Нет ни одной строки в его книге, которая не была бы написана под наитием таких ощущений. Эти головокружительные просторы и дали были фоном всех его картин, окружением всех его образов.

Он как будто всю жизнь носился в междупланетных просторах, и что ему наши вершочки и дюймочки! „Вихри миров, кружась, носили мою колыбель; сами звезды уступали мне место". „Я думал, что этого мира довольно, пока вкруг меня не возникли мириады других миров. Великие мысли пространства и вечности теперь наполняют меня, ими я буду себя измерять". Такой космически-грандиозной души еще не знала мировая поэзия. Были поэты-титаны, поэты-гиганты, но и у тех — какой крошечный, игрушечный космос! Данте доподлинно знал адрес Люцифера и Христа, он мог бы на карте показать, где находится ад и рай. Как же ему было опьяняться этими просторами и далями, которых он не знал и не чувствовал? Новый космос подарила человеку наука, и Уитмэн первый великий поэт этого нового космоса.

Но разве только наука внедряет в современную душу космическую широту ощущений, какой прежде не знала душа? Разве безбрежный разлив демократии, поистине новый всемирный потоп, не взращивает в современной душе то же грандиозное чувство безмерности, широты, необ'ятности?

„Вы только подумайте, — пишет поэт в послесловии к своей единственной книге, — вы только вообразите себе теперешние Соединенные Штаты, эти 38 или 40 империй, спаянных воедино, эти шестьдесят или семьдесят миллионов равных, одинаковых людей, подумайте об их одинаковых жизнях, одинаковых страстях, одинаковой судьбе; об этих бесчисленных нынешних толпах, которые клокочут, бурлят вокруг нас и которых мы — неотделимые части! И подумайте для сравнения, какое ограниченно-тесное было поприще у прежних поэтов, как бы гениальны они ни были. Ведь до нашей эпохи они и не знали, не видели множественности, кипучести, биения жизни, и похоже на то, что космическая и динамическая поэзия толпы, которая теперь у каждого в душе, доселе и не была возможна“ [1]).

Миллионы одинаковых сердец доводят его до бреда. Высшего восторга он не знает — ринуться в этот океан человечества, потонуть и раствориться в нем... Но равенство всех со всеми, всемирное содружество людей, — этого еще недостаточно его размашистой душе. Он хотел бы и деревья, и звезды, и каждую песчинку вовлечь в этот демократический мир, всю вселенную преобразить в демократию!

Нет ни лучших, ни худших, — никакой иерархии! — все вещи, все деяния, все чувства так же равны, как и люди, — и корова, понуро жующая жвачку, прекрасна, как Венера Милосская; листочек травинки не менее, чем пути небесных планет; и глазом увидеть стручок гороха превосходит всю мудрость веков; и душа не больше, чем тело, и тело не больше, чем душа; и клопу, и навозу еще не молились как нужно: они так же достойны молитв, как самая святая святыня. Все божественны и все равны:

— Корни всего, что растет, я готов поливать!

— Или, по вашему, плохи законы вселенной, и их нужно отдать в починку?

---

[1]) A Backward Glance O‘er Travelled Roads (Оглядка на пройденные пути), стр. 437.

— Лягушка — шедевр, выше которого нет! И мышь, это — чудо, которое может одно пошатнуть секстильоны неверных!

— Я не зову черепаху негодной только за то, что она черепаха.

> Оттого, что ты прыщеват или грязен, или оттого, что ты вор
> Или оттого, что у тебя ревматизм, или что ты — проститутка
> Или что ты — импотент или неуч и никогда не встречал свое имя в газетах, —
> Ты менее бессмертен, чем другие?

Жизнь так же хороша, как и смерть; счастье — как и несчастье. Победа и поражение — одно. „Ты слыхал, что хорошо победить и одолеть? Говорю тебе, что пасть — это так же хорошо. Это все равно: разбить или быть разбитым“.

Вселенское всеравенство, всетождество! И наука, для которой каждый микроб так же участвует в жизни вселенной, как и величайший из нас; для которой у меня под ногою те же газы, те же металлы, что и на отдаленнейших солнцах, для которой даже беззаконная комета движется по тем же законам, что и мячик играющей девочки, — утверждает, расширяет в современной душе демократическое чувство всеравенства.

Слово идентичность, identity (одинаковость, тождество) любимое слово Уота Уитмэна. Куда ни взглянет, он видит родственную близость вещей, словно все они сделаны из одного материала. И дошло до того, что, какую вещь он ни увидит, про всякую говорит: это—я!— и здесь не схема, не формула, а живое человеческое чувство. Каждым нервом он ощущает свое равенство со всем и со всеми. Многие его поэмы построены именно на том, что он ежеминутно преображается, примеривает новые личины. Часто это выходит у него эксцентрично. Например, в поэме „Спящие“ он преобразился в любовницу, которая ночью принимает у себя любовника. „Я женщина, я принарядилась, причесалась и жду, ко мне пришел мой беспутный любовник“. После брачных об'ятий любовник покинул постель — „молча встал он вместе со мною с кровати,

и я чувствую горячую влагу, которую он оставил во мне".

На следующей строке поэт превратился в старуху:

Не у старухи, а у меня морщинистое, желтое лицо,
Это я сижу глубоко в кресле и штопаю своему внуку чулки.

На следующей строке он — вдова:

Я вдова, я не сплю и смотрю на зимнюю полночь,
Я вижу, как искрится сияние звезд на бледной, обледенелой земле.

На следующей строке он уже не человек, а предмет:

Я вижу саван, я — саван, я обмотан вокруг мертвеца в гробу.

Увидев какого-то беглого негра, за которым погоня, такую же погоню он чувствует и за собой:

„Я этот загнанный раб, это я от собак отбиваюсь ногами...
Вся преисподняя следом за мной!
Щелкают, щелкают выстрелы!
Я за плетень ухватился, мои струпья сцарапаны, кровь сочится и каплет..
Лошади там заупрямились, верховые кричат, понукают...
Уши мои — как две раны от этого крика,
И вот меня бьют сразмаха по голове кнутовищами...

„У раненых я не пытаю о ране, я сам становлюсь тогда раненым!" — этим чувством всеравенства, всетождества, он мечтает заразить и нас, ибо без этого чувства что же такое демократия? Его оно опьяняет до галлюцинаций, до транса. Словно одержимый факир в вакхическом вдохновении, он, захлебываясь, начинает кричать, что и звезды — это он, и Бог — это он; что всюду его двойники, что весь мир — продолжение его самого: „я весь не вмещаюсь между башмаками и шляпой".

— Водопад Ниагара — вуаль у меня на лице!
— Мои локти в морских пучинах, я ладонями покрываю всю землю!
— О, я стал бредить собою, вокруг так много меня!

Для него не преграда ни времена, ни пространства: сидя в вашингтонском трамвае, он, янки, шагает по старым холмам Иудеи, рядом с юным и стройным красавцем Христом...

Доведя у себя в душе до последнего края это робко-брезжущее чувство, которого у нас почти еще нет, которое все впереди, — чувство равенства и слиянности со всеми, — он так порывисто, с такими об'ятиями бросается к каждой вещи и каждую словно гладит рукою (ведь каждая — родная ему!), и сейчас же торопится к другой, чтобы приласкать и другую: ведь и эта прекрасна, как та, — и громоздит на страницах хаотические груды, пирамиды различнейших образов, бесконечные перечни, реестры всего, что ни мелькнет перед ним, списки, каталоги, прейс-куранты вещей (как смеялись его противники), веруя в своем энтузиазме, что стоит ему только назвать, безо всяких прикрас, все эти ежеминутные видения, — сами собою неизбежно возникнут поэзия, красота и парение духа.

Вот, например, его поэма „Привет Миру", озаглавленная почему-то по французски: „Salut au Monde". В ней поэт мысленно совершает путешествие вокруг земного шара — и все звуки, пейзажи, люди нахлынывают на него со всех сторон. „О, возьми меня за руку, Уот Уитмэн, — обращается он к себе самому. — Сколько быстро-бегущих чудес! Что это ширится во мне, Уот Уитмэн? Что это там за страны? Какие люди и какие города? Кто эти младенцы? — одни спят, а другие играют. Кто эти девочки? Кто эти замужние женщины? Какие реки, какие леса и плоды? Как называются горы, которые высятся там в облаках? Неужели полны жильцов эти мириады жилищ? Во мне широта расширяется и долгота удлиняется, во мне все зоны, моря, водопады, леса, все острова и вулканы". Вызвав в себе этот экстаз широты, он вопрошает себя:

— Что ты слышишь, Уот Уитмэн?

И отвечает себе на целой странице:

— Я слышу кастаньеты испанца, я слышу, как кричат австралийцы, преследуя дикую лошадь, я слышу, как вопит араб-муэдзин на вышке своей мечети, я слышу

крик казака, я слышу бормотание еврея, читающего псалмы и предания, я слышу ритмические мифы Эллады и могучие легенды Рима, я слышу... я слышу... я слышу...

Исчерпав в таком каталоге всевозможные звуки, производимые различными народами, поэт задает себе новый вопрос:

— Что ты видишь, Уот Уитмэн?

И начинается новый каталог:

— Я вижу огромное круглое чудо, несущееся в неизмеримом пространстве, я вижу вдали в уменьшеньи, фермы, деревушки, развалины, тюрьмы, кладбища, фабрики, замки, лачуги, хижины варваров, палатки кочевников; я вижу: одно полушарие в тьме, а другое залито солнцем; я вижу, как изумительно быстро сменяются свет и тьма; я вижу отдаленные страны.. Я вижу Гималаи, Алтай, Тянь-Шань, Гаты; я вижу гигантские башни Эльбруса, Казбека... я вижу Везувий и Этну, я вижу Лунные горы и Красные Мадагаскарские горы... я вижу парусные суда, пароходы, иные столпились в порту, иные бегут по воде, иные проходят через Мексиканский залив, иные мимо мыса Лопатки, иные скользят по Шельде, иные по Лене, иные разводят пары". И так дальше—много страниц... Здесь, опять-таки, ни отдаленность пространств, ни отдаленность времен не мешают ему видеть все, что он хочет:

„Я вижу Иисуса Христа, на Тайной Вечере, он ест хлеб последней трапезы, окруженный стариками и юношами,
Я вижу Гермеса, он умирает неузнанный, всеми любимый,
И говорит умирая: не плачьте обо мне,
Ибо моя отчизна не здесь, я был изгнан из моей отчизны, теперь я возвращаюсь назад.
Я возвращаюсь в небесные сферы, куда каждый возвратится в свой черед" [1]).

И снова: „я вижу, я вижу, я вижу... Я вижу Тегеран. Я вижу Москат и Медину... я вижу Мемфис... я вижу всех рабов на земле, я вижу всех заключенных в тем-

[1]) Здесь поэт разумеет Гермеса Трисмегиста, бога мудрости (в египетской мифологии — Тот). Ему приписывали авторство священных книг, в которых часто высказывались идеи неоплатоников о будущей отчизне, во многом совпадавшие с христианскими.

ницах, я вижу хромых и слепых, идиотов, горбатых, лунатиков, пиратов, воров, убийц, беспомощных детей и стариков", и так дальше — несколько страниц... „И я посылаю привет всем обитателям земли... Вы, будущие люди, которые будете слушать меня через много веков, вы, японцы, евреи, славяне — привет и любовь вам всем от меня и от всей Америки. Каждый из нас безграничен, каждый нужен, неизбежен и свят. Мой дух обошел всю землю, сочувствуя и сострадая всему. Я всюду искал друзей и товарищей и всюду нашел их, и вот я кричу:

— Salut au Monde!

Во все города, куда проникает солнечный свет, проникаю и я, во все острова, куда птицы летят, лечу вместе с ними и я"...

Вот в сокращенном виде эта знаменитая поэма, над которой столько издевались, которую в свое время не хотел напечатать ни один американский журнал, на которую написано столько смехотворных пародий. Иногда мне кажется, что это и в самом деле беспорядочный набор всевозможных географических имен, не имеющий никакого отношения к поэзии; иногда я и сам готов посмеяться над такими стихами, но бывают дни, когда они действуют на меня магнетически, словно и вправду какая-то могучая длань извлекла меня из захолустья, и подняла над вселенной, и я увидел в экзальтации всю ширь, все богатство, все опьяняющее разнообразие мира. Если это и каталог, то каталог вдохновенный. Правда, он требует вдохновения и от меня, от читателя, но какая же самая гениальная поэма осуществима без вдохновений читателя? Недаром Уитмэн так часто твердил, что его стихи — это н а ш и стихи. Воспринимая их, мы должны с а м и творить их, и если у нас хватит таланта, мы действительно ощутим восторг бытия, отрешимся от нашего муравьинного быта и, словно на аэроплане, воспарим над землей. Эта способность „расширять всякую широту и удлинять всякую долготу" особенно выразилась в другой поэме Уота Уитмэна: „Переправа на Бруклинском перевозе".

Он задумывается о будущих людях, которые через много лет после его смерти будут все также переезжать из Бруклина в Нью-Йорк, и обращается к этим будущим, еще не родившимся, с такими стихами:

Время не имеет значения, и пространство не имеет значения,
Я с вами, люди будущих веков,
То же, что чувствуете вы, глядя на эту воду, чувствовал когда-то и я,
Так же, как освежает вас это яркое, веселое течение реки, освежало оно и меня,
Так же, как вы теперь стоите, опершись о перила, стоял когда-то и я.

Здесь опять-таки отрешение от времени, — поэт говорит о себе, как о давно умершем, обращаясь к неродившимся, как к своим живым собеседникам:

Я тоже, как и вы, много раз, много раз переезжал эту реку,
Видел отражение летнего неба в воде,
Видел ослепительный солнечный блеск за кормой,
Видел тень от своей головы, окруженную лучистыми спицами в залитой солнцем воде,
Я тоже был живой, как и вы, и этот холмистый Бруклин был моим,
Я тоже шагал по Манхаттанским улицам и купался в окрестных водах.

Обращаясь к этим будущим, еще не рожденным людям и продолжая говорить о себе, как о давно-погребенном покойнике, он опять-таки устанавливает полную „идентичность“ своих ощущений с ощущениями этих людей. Смерти нет, есть вечная трансформация материи:

— Я верю, что эти комья земли сделаются любовниками и лампами.

— Я завещаю себя нечистотам... Если вы захотите увидеть меня опять, смотрите себе под подошвы.

Смерть не ставит границы между прошлым поколением и будущим. Люди для Уитмэна — дождевые капли, вовлеченные в бесконечный круговорот бытия: они вечно поднимаются с земли, носятся в небе и падают снова на землю, — хоть и в новой форме, но те же: между облаком, туманом, волной океана и каплями

осеннего ливня есть только кажущаяся, формальная разница. Та же разница между живыми и мертвыми.

Смерти воистину нет,
А если она и есть, она ведет за собою жизнь, она не подстерегает ее, чтобы прикончить ее,
Ей самой наступает конец, едва только появится жизнь.

О личном бессмертии он не заботится, судьба отдельных капелек не заботит того, у кого перед глазами океан. Он поэт миллиардов, отсюда его слепота к единицам. Все частное, случайное, индивидуальное, личное ему недоступно. Можно ли увидеть в телескоп микроскопических мошек? Странно было бы прочитать в его книге длинную подробную историю о том, как какая-нибудь миссис Джонс или Джонсон влюбилась в зеленоглазого Джона... К мелочам и суетам человеческой жизни он не то что не любопытен, а неизменно созерцает их среди широчайших горизонтов и далей: если он и изобразит миссис Джонсон, то лишь sub specie aeternitatis, окружив ее пылающими безднами, океанами беспредельного хаоса. — „Миссис Джонсон, ты бессмертна, свята и божественна; все, что есть в тебе низменного, озарено миллионами солнц!“ — а ей это совсем и не нужно, пожалуйста, не приставайте к ней с вечностью. Пусть у нее не душа, а душонка, но эта душонка — ее, и какой-нибудь Толстой или Флобер истратили бы тысячи гениальных страниц для регистрации всех микроскопических чувств этой лилипутской душонки, все же единственной в мире, а певец многомиллионной толпы, где каждый равен каждому, где все—как один, и один—как все, не видит, не чувствует отдельных человеческих душ. Человечество для него — муравейник, в котором все муравьи одинаковы, и он не замечает, что этот муравей — Наполеон, а эта муравьиха — Беатриче [1]).

1) Толстой в „Воскресении“, рассказывает, как Нехлюдов узнал Маслову: „Он видел теперь ясно ту *исключительную, таинственную особенность*, которая отличает каждого человека от другого, делает его *особенным, единственным, неповторяемым*“ (Часть первая, IX).

Если Гамлет для него то же, что Чичиков, и Шекспир — двойник Смердякова, то нет ни Шекспира, ни Гамлета, нет личностей, лиц, а есть какая-то статистика, алгебра, страшная и угнетающая.

Если поэзия будущего в этом обезличении личности, мы не хотим ни поэзии, ни будущего!

Нет, даже нос Сирано де-Бержерака, знаменитый фундаментальный нос, без которого Бержерак — не Бержерак, мы не желаем уступить никому, даже горб Квазимодо, даже запах Петрушки, присущий ему одному, его одного отличающий, — и нам обидно читать поэмы, посвященные Первому Встречному.

— Я славлю каждого, всякого, любого, кого бы то ни было! — постоянно повторяет поэт, а сам и не глядит на того, кого славит. Что и глядеть, если все одинаковы. Первый Встречный, какая-то безличная личность, вот новый Эней, Одиссей грядущего демократического эпоса, и о нем мы знаем лишь то, что он один из миллиона таких же... Но нет, и один — не один:

Он не один!
Он отец тех, кто станут отцами и сами!
Многолюдные царства таятся в нем, гордые, богатые республики,
И знаете ли вы, кто придет от потомков потомков его!

Даже в одном человеке—целые мириады людей!

И женщина, которую он воспевает, есть обще-женщина, а не та или эта, с такой-то родинкой, с такой-то походкой, единственной, неповторяемой в мире. Он видит в ней многородящие чресла, но не чувствует обаяния личности:

„В вас я себя вливаю! — твердит он своим возлюбленным: — Тысячи, тысячи будущих лет я воплощаю через вас!“ — снова тысячи, снова века и века, но еще неизвестно, согласится ли Джульетта или самая последняя „мовешка“ служить своему Ромео каким-то безымянным воплощением веков!

Когда любишь, — как остро ощущаешь единственность своего любимого, его исключительность, его „ни с кем несравнимость“:

Только в мире и есть, что лучистый,
Детски-задумчивый взор!
Только в мире и есть, что душистый
Милой головки убор!
Только в мире и есть — этот чистый
Влево бегущий пробор! Фет.

Но разве в этих сонмах, легионах, мириадах поэт многоголовья, многолюдства заметит хоть что-нибудь единственное? Здесь он слеп и слеп безнадежно.— „Из океана толпы, из моря ревущего выплеснулась капельная капелька и шепчет: тебя я люблю", — вот его ощущение любовности:

С миром вернись в океан, моя милая,
Я ведь тоже капля в океане...

Покажите ему плотничий топор, самый обыкновенный, простой, и, глядя на этот топор, он немедленно вспомнит те миллионы всевозможных топоров, которыми в течение столетий отрубали преступникам головы, делали кровати новобрачным, гробы покойникам, корыта и колыбели младенцам, корабли, эшафоты, лестницы, стулья, бочки, посохи, обручи, столы, он видит несметные толпы древних воителей с окровавленными боевыми топорами, палачей, опирающихся на страшные свои топоры, калифорнийских, колумбийских дровосеков: все топоры всего мира так и сыплются к нему на страницы, одного лишь топора он не видит, — того, который лежит перед ним. Этот топор потонул в лавине других топоров. Его личность ускользнула от Уитмэна [1]).

И характерно: когда Уитмэн однажды затеял оплакать смерть Линкольна, личность великого янки так и не нашла себе места в этой грандиозной поэме. Личность ускользнула и здесь. Уитмэн утверждал, что Линкольн был ему дороже всех людей (кроме покойной матери), и, однако, ни слова не сказал о самом Линкольне, который ведь отличался же чем-нибудь от мириад не-Линкольнов! Гуртовой, оптовый поэт! И враги демо-

[1]) См. „Песнь о плотничьем топоре" (Song of the Broad-Axe).

кратии ликуют: чего же другого и ждать от поэтов стадности, заурядности, дюжинности!

— О, божественный средний человек! О, святая банальность, шаблонность! — восклицал он с каким-то вызовом, и в этом попрании личности многим чудились крах и банкротство грядущего искусства демократии.

Но Уитмэн повторяет многократно:

> Одного воспеваю я — личность простую, отдельную

и уверяет, будто поэзия демократии есть именно поэзия личности? Прав ли он, это огромный вопрос, так как отдельная душа человеческая дороже всяких самых идеальных фаланстеров, и горе демосу, если он поглотит ее! Тогда убыток всему человечеству, полное банкротство всего мира, все пропало, вся планета — ни к чему.

Уитмэн не был бы демократическим бардом, если бы в торжестве демократии ему почудилась эта угроза душе. Человеческая душа для него — единственный фонд, капитал, которым в течение веков только и живет человечество! Он бы ни за что не допустил, чтобы этот фонд уменьшился. Он в своей книге многообразно указывает, что все, чем человечество богато, — книги, машины, червонцы, — есть только проценты с капитала—души:

> Ты думаешь, что библии и религии божественны.
> Я не говорю, что они не божественны,
> Я только говорю, что все они выросли из тебя, и могут снова вырасти из тебя.
> Не они дают тебе жизнь, это ты даешь им жизнь:
> Как листья из деревьев, как деревья из почвы — так они растут из тебя.
> Монументы, письмена и статуи — все из тебя,
> Если бы ты сейчас не дышал и не ходил по земле,
> Что бы они были такое?

Поэзия Уитмэна тем-то и значительна, что в ней явлен и воплощен синтез крайнего демократического идеала с самым необузданным индивидуализмом. Индивидуализм, который дотоле считался достоянием аристократических гениев, впервые в поэзии Уитмэна реквизирован для нужд демократии. Если личности и будет

где простор, так только в недрах демократии, — для Уитмэна это не теоретический догмат, а самая насущная реальность.

Он и сам чувствует, что здесь — противоречие, что певцу многоголовой толпы не пристало вырывать из муравейника какого-нибудь одного муравья и делать его — хоть на миг — средоточием всего мироздания, но эта непоследовательность не пугает его:

Я, кажется, противоречу себе?
Ну, что же, я настолько вместителен,
Что могу совместить в себе противоречья! —

Как бы то ни было, это весьма показательно, что еще задолго до Ницше нашелся такой демократ, который, вопреки своей демократичности или, вернее, благодаря своей демократичности, создал культ сверхчеловека и даже об'явил этим сверхчеловеком себя.

— Я славлю себя и воспеваю себя!

— Запах моих подмышек ароматнее всякой молитвы.

— Я — божество и внутри, и снаружи, гляну в зеркало, и предо мною Бог (хотя в зеркале — растрепанный мужчина, без галстука, с расстегнутым воротом).

Это ли не сатанинское восстание личности! Поэт падает ниц перед зеркалом и, как изображение Бога, целует свое отражение.

— Я тоже творю чудеса.

— Я не враг откровений и библий: малейший волосок у меня на руке есть откровение и библия.

Он готов построить себе храм и служить себе самому литургию и на каждой странице кричит, что вся вселенная—для него одного, что он—солнце всего мироздания: „ты для меня разметалась, земля, вся в ароматах зацветших яблонь“ —

Восходящее солнце, слепительно-страшное, как скоро ты убило бы меня,
Если б во мне самом другое такое же солнце не всходило навстречу тебе!

На каждом алтаре, пред которым простираются люди, он гордо расселся сам, но они не должны возмущаться, так как он каждому из них говорит:

— Вы такие же сверхчеловеки, как и я!

— Вы тоже рядом со мною на троне — все до единого, кто бы вы ни были, и если посмотрите в зеркало, вы тоже увидите там Бога.

— Как ты велик,—ты не знаешь и сам, проспал ты себя самого!

— О, никого, даже Бога, я песнями моими не прославлю, если я не прославлю тебя!

— Ни у кого нет таких дарований, которых бы не было и у тебя, ни такой красоты, ни такой доброты, какие теперь у тебя!

— Эти равнины безмерные! Эти реки безбрежные! Безмерен, безбрежен и ты, как они! — взывает он к каждому, к первому встречному, к идиоту, палачу, сифилитику.

Ты думал, что над тобою только единый Всевышний,
Нет, Всевышних может быть сколько угодно, один не мешает другому:
Ведь этот глаз не мешает другому, эта жизнь не мешает другой.

И скоро на целой земле не осталось ни одного человека: все превратились в богов. Если иконописцы издревле венчали золотыми венцами только единственный лик, а все остальные лики были у них темными и неувенчанными, то теперь на иконостасе поэта мириады, сонмы голов, и каждая с золотым ореолом. Прежнего Богочеловека сменили толпы Человекобогов; вон они кишат на асфальте, в магазинах, на бирже, и каждый из них—Мессия, каждый сошел с небес, чтобы творить чудеса, и сам—воплощенное чудо. В том то и торжество демократии, что в ней каждый человек — Единственный, что личность не только не попрана ею, но именно ею впервые коронована и взнесена. Напрасны были вопли испуганных. Демократия не растоптала никого, но — устами своего поэта — каждому сказала: ты святой. Именно потому-то и негра, и Шиллера, и идиота, и Гамлета поэт венчает одинаковым венцом, что он чувствует, воочию видит, что в основе, в глубине глубин, в своей мистической сущности —

под обманчивыми оболочками — их души равны, одинаковы, одинаково святы, одинаково бессмертны, прекрасны, и что это только так кажется, это чей-то обман, наваждение, будто Смердяков—одно, а Шиллер — совсем другое. Сбросьте с них эту скорлупу, рассейте мираж, и только тогда вам откроется их подлинная, вечная личность. И тогда вы внезапно поймете, что пресловутый Бержераковский нос, и запах Петрушки, и родинка карамазовской Грушеньки, и гениальность гения, и пошлячество пошляка—это не только не личность, не выражение личности, но это маска, ее закрывающая. Наша индивидуальность начинается там, где кончаются наши индивидуальные качества; сквозь пестрые многообразные покровы поэт прозревает в каждом единую *душу души*:

Кто бы ты ни был,—я боюсь, ты идешь по дороге снов,
Я боюсь, что то, в чем ты так крепко уверен, уйдет у тебя из под ног и под руками растает:
И обличье твое, и твой дом, и слова, и дела, и тревоги, и твое веселье, и твое безумство —
Все ниспадает с тебя, и твое настоящее тело, и твоя душа настоящая, только они предо мною,
Ты предо мною стоишь в стороне от работы твоей и заботы, от купли-продажи, от фермы твоей и от лавки, от того, что ты ешь, что ты пьешь, как ты скорбишь и умираешь...
Твой пошлый наряд, безобразную позу, и пьянство, и похоть, и раннюю смерть,—все я отброшу прочь...
Там под спудом, внизу затаился ты настоящий,
И я вижу тебя, где никто не увидит тебя!

В этих проникновенных словах поэт дает нам вечную. гранитную основу для утверждения демократического равенства: веру в мистическую сущность бессмертного человеческого я. в универсальную душу человека, открывающуюся во всех обличиях, — чтобы демократия „цветком, плодом, сиянием, светом вошла в человеческие нравы“ и утвердила новую грядущую религию всесвятости и человекобожества. Но именно это-то ощущение одинаковости всех человеческих душ и сделало его слепым к отдельным личностям. Славить без из’ятия всякую личность, это значит не славить ни одной,—и не даром во всей книге Уитмэна ни разу не

изображен какой-нибудь своеобразный, самобытный человек с особенной отдельной душой. Поэта демократии интересовало не то, чем люди непохожи друг на друга, а лишь то, чем они друг на друга похожи. Его глаз улавливает только типичное, и потому, повторяю, поэзия индивидуального, личного осталась чужда его книге.

Демократия принесла человечеству новое слово: товарищ. Чувство, что мы рядовые какой-то Великой Армии, которая без Наполеонов и маршалов идет от победы к победе, проникло уже в каждого из тех, кто заполняет сейчас площади, театры, банки, университеты, рестораны, кинематографы, трамваи современных многомиллионных городов.

Но это удивительное чувство, которое, как мы знаем, было так могуче в поэте, что повлекло его к раненым в госпитали, на поля, залитые кровью, — это чувство во всей современной поэзии еще не нашло никаких выражений. Рыцарское преклонение пред женщиной, свойственное средним векам, культ Прекрасной Дамы, столь облагородивший половую любовь и заповедавший современному обществу какую-то прекрасную изысканность, ныне для нас недостаточны: грядущему человечеству нужен такой же культ — культ Товарища, культ демократической дружбы, ибо все больше и больше накопляется в сердцах у людей эта новая нежность, влюбленность в соратника, сотрудника, попутчика, в того, кто идет с нами в ногу, плечо к плечу, участвует в общем походе, и вот это неокрепшее чувство, зародыш чувства, поэт пытается развить и усилить, довести его до той всепоглощающей грандиозной страсти, в которую, как он верит, онс преобразится потом, при всемирном торжестве демократии.

Он и здесь предваряет грядущее. И если теперь его оды товарищу, тому, кого он зовет camerado, кажутся нам невозможными и напоминают серенады влюбленного, — так они чрезмерно - молитвенны и пламенно-нежны, — то это потому, что еще не исполнились сроки, чтобы и в наших сердцах возгорелась такая плодотворная страсть.

В его книге есть особый цикл этих необычных любовных стихов.

Даже слова еще не нашлось для такого грядущего чувства. Формальное слово *дружба* нисколько не выражает его. Это скорее тревожная, жгучая, бурная влюбленность мужчины в мужчину, женщины в женщину, и без этого чувства, как верит поэт, демократия — только призрак:

„Вся сила свободы будет в этих влюбленных, весь залог равенства будет в этих друзьях. Или вы ищете, чтобы вас связали друг с другом чиновники? Или какой-нибудь договор на бумаге? Или оружие? Нет, целому миру и никому во вселенной вас не связать таким образом“.

V

Итак, вот главные черты демократической поэзии будущего, как они наметились в творчестве Уитмэна:

Во-первых, это — поэзия счастья. Такого оптимиста, как Уитмэн, еще не было во всесветной поэзии. Отчаяние, уныние, хандру Уитмэн всецело предоставил поэтам отошедших эпох, ибо не может не быть оптимистом поэт, связавший свою душу с такой растущей и жизнетворческой силой, как демократия, которой обеспечено столь прочное будущее, у которой — по истечении положенных сроков — будет во власти весь мир! Тот, кто говорит от лица демократии, не может не почерпнуть у нее ее инстинктивную, триумфальную радость, радость создания нового культа, предчувствие великолепного будущего.

Во-вторых, это — поэзия науки, и, главным образом, естественных наук. Появление демократии на сцене современной истории недаром совпало с торжеством эволюционного учения о мире, с дарвинизмом, спенсеризмом и т. д. Всюду, где в последние годы нарождалась на Западе и у нас демократия, она тотчас же изгоняла из своего обихода ту завещанную средними веками схоластическую „риторико-филологическую“ [1])

[1]) По выражению Герцена. Собр. сочин. (Петр. 1917, IV, 378).

псевдо-науку, которую с такой охотой культивировали привилегированные феодальные классы. Неот'емлемым достоянием демоса является всегда позитивизм, и Уитмэн не был бы великим поэтом, если бы это позитивистское ощущение мира не внушило ему истинно-религиозного пафоса. Он, если можно так выразиться, — мистик позитивизма, он претворяет ученые формулы Уоллеса, Геккеля, Спенсера в религиозные псалмы, в Апокалипсис:

Внизу в глубине я вижу первоначальное Ничто,
Невидимый, я долго там таился и спал в летаргическом сне.
Долго готовилась вселенная, чтобы создать меня,
Вихри миров, кружась, носили мою колыбель...
Мой зародыш в веках не ленился,
Все мировые силы трудились надо мною от века,
Если бы я и вы, и все миры, сколько есть, и все, что на них и под
ними, снова в эту минуту свелись к бледной текущей туманности,
Это была бы безделица при нашем долгом пути.
Мы вернулись бы снова сюда, где мы стоим сейчас,
И отсюда пошли бы дальше, все дальше и дальше...
Несколько квадрильонов веков, немного октильонов кубических верст
не задержат этой минуты, не заставят ее торопиться:
Они только часть, и все только часть,
Как далеко ни смотри, за твоею далью есть дали.

В этом хаотическом стихотворении нет ни единой строчки, под которой не подписались бы наши Тимирязев или Сеченов.

Слава позитивным наукам! Да здравствует точное знание!
Вот геолог, этот работает скальпелем, а тот математик,
Джентльмэны! Вам первый поклон и почет.

В-третьих, как мы видели, эта поэзия есть поэзия миллионной толпы, всяческих широт и громадностей, невиданных, неслыханных чисел; — поэзия, насыщенная чувством мировых просторов и далей. Только демократическая наша эпоха, давшая миру газету с ежедневными телеграммами, каблеграммами, радиотелеграммами из Рио-Жанейро, Сиднея, Баку; биржу, в которой Москва связана с Нью-Иорком и Мадридом; кинематограф, где перед вами за малую плату пляшут под музыку Альпы, — только эта эпоха, все силы которой устремились на победу над пространством, могла внушить человеку такое новое небывалое чувство, и это

чувство, несомненно, усилится, когда, благодаря авиации, Лондон пододвинется к Киеву и Париж станет близким соседом Афин.

В-четвертых, в этой поэзии чрезвычайно ослаблено внимание к единичным, индивидуальным явлениям и лицам; она бедна психологическими мотивами, анализом отдельных человеческих душ. Это характерно, потому что не даром у нас в России психологический роман достиг своего апогея в дворянской, не плебейской, среде. То копание в человеческих душах, виртуозами коего были усадебные наши писатели, не увлекает поэтов-плебеев, поскольку они поэты толпы.

В-пятых, как мы видели, это — поэзия товарищеской, дружеской любви, столь редкостной в былые эпохи.

В-шестых, это — поэзия интернационала, всемирного братства народов, которое, впрочем, у Уитмэна всегда было связано с самым пламенным патриотическим чувством. В Америку он был влюблен, как в любовницу, и шумно признавался ей в любви, часто отождествляя ее с демократией, утверждая, что без крепкого национального чувства истинное братство народов невозможно. Братство народов для него было почти совершившимся фактом: он знал, что, раз это дело в руках у демократии, оно будет доведено до конца. И в самые черные для демократии дни разбитый параличем, умирающий, он нацарапал стариковской рукой такие пророческие каракули:

Стерты рубежи между царствами, проведенные в Европе царями,
Ныне сам народ проведет свои рубежи на земле.
Человечество стало единый народ, тираны дрожат, их короны, как призраки, тают,
Не создается ли у шара земного единое сердце?

VI

Певучесть есть в морских волнах,
Гармония в стихийных спорах,
И стройный мусикийный шорох
Струится в зыбких камышах.
Тютчев.

Английский историк Джон Эддингтон Саймондс сочинил об Уитмэне целую книгу, прекрасную, но

в самом конце заметил, что Уитмэн все же ускользает от него. Книга осталась сама по себе, а Уитмэн сам по себе. И критик в отчаянии прибегает к последнему средству — к метафорам: „Уитмэн, — пишет он, — это чудище-бегемот: грозно он прет напролом сквозь заросли джунглей, ломая бамбуки и лианы, погружаясь в могучие реки, и сладострастно ревет в упоении от знойного дня. Уитмэн — огромное дерево, сказочное Древо Игдразиль, его корни в подземном царстве, а ветви его волшебной вершины закрыли собою все небо. Это — лось, это — буйвол, властительно настигающий самку, всюду за нею следующий в пустынной безмерности прерий. Его поэмы — словно кольца ствола какого-то кряжистого дуба. Уитмэн — это воздух, в котором струятся и зыблются неясные видения, миражи, какие-то башни, какие-то пальмы; но когда мы простираем к ним руки, они исчезают опять. Уитмэн — это земля, это весь земной шар: все страны, моря, леса — все, что озаряется солнцем, все, что орошается дождями. Уитмэн — это все народы, города, языки, все религии, искусства, все мысли, эмоции, верования. Он наш лекарь, наша нянька, наш возлюбленный", и т. д., и т. д., и т. д. [1])

Русский писатель Бальмонт подхватывает эти метафоры:

— „Уитмэн — сам Водяной. Он — морской царь; пляшет, корабли опрокидывает.... Ульт Уитмэн есть Южный Полюс.... Уольт Уитмэн — размах. Он — птица в воздухе. Он — как тот морской орел, который зовется фрегатом: остро зрение у этой птицы, и питается она летучими рыбами и вся как бы состоит из стали: она как серп, как коса", и т. д., и т. д., и т. д. [2]).

Уитмэн только поморщился бы, прочитав эти нарядные строки. Красивость претила ему. Вся эта эффектная риторика не для вселенского барда. „О если б моя песня была проста, как голос животных, быстра и

[1]) John Addington Symonds. „Walt Whitman". A Study, pp. 156-157.
[2]) „Перевал" 1907, III; „Уольт Уитмэн. Побеги травы". Предисловие.

ловка, как движения рыб, как капание капель дождя. Будь я гениальнее Гомера, Шекспира, умей я слагать сладкозвучные песни, —

Все это, о, море, я отдал бы с радостью,
Лишь бы ты мне дало колыхание твоей волны,
Единый ее переплеск,
Или вдохнуло в мой стих одно твое соленое дыхание,
И оставило в нем этот запах.

Все книжное, условно-поэтическое, все тропы, фигуры, метафоры казались ему бессмысленной фальшью. Он уверял, будто каждую строчку создает на берегу океана, проверяя ее воздухом и солнцем. Ведь трава растет без метафор; и не ямбом, не дактилем струится река. Разве дерево, когда шумит листвою, заботится о каком-нибудь ритме? Уподобиться дереву, траве, реке — таков, по Уитмэну, идеал поэта. „Все поэты из сил выбиваются, чтобы сделать свои книги ароматнее, вкуснее, пикантнее, но у природы, которая одна мне была образцом, такого стремления нет“, — писал Уот Уитмэн. — „Человек, имея дело с природой, постоянно норовит приукрасить ее. Скрещиванием и отбором он усиливает запахи и колеры цветов, сочность плодов и т. д. То же самое он делает в поэзии: добивается сильнейшей светотени, ярчайшей окраски, острейшего запаха, самого „ударного“ эффекта. Поступая так, он изменяет природе“. Отсюда нарочитая неотесанность, грубость уитмэнова языка. В поэзию он вводит такие слова, что не всякий прочтет их вслух; но ведь буйволов они не сконфузят.

И долго держалась легенда, будто его стихи так же необдуманны, внезапны и дики, как рычание лесного зверя. Он сам этой легенде потворствовал. „Тот не поймет моей книги, кто захочет смотреть на нее, как на литературное явление, с эстетическими или художественными задачами“, — повторял он на все лады. — „Среди книг я лежу дураком, как немой, как нерожденный, как мертвый“. Но вот в 1899 году душеприказчик поэта обнародовал его черновики, первоначальные наброски, варианты, и обнаружилось, что

каждый эпитет, каждое небрежное слово — плод долгих исканий и опытов [1]). Даже странно читать, сколько правил и догматов, именно литературных, эстетических, внушал себе этот поэт-Бегемот. О стиле, об эпитетах, о метрике у него есть целые трактаты. В его безыскусственности было много искусства, в его простоте была сложность. „Даже в самом отказе своем от художества он оказался художником!“ — говорит о нем Оскар Уайльд и блестяще доказывает, что пресловутая его первобытность была чисто-литературным явлением [2]).

Этот дикий „морской орел“ прекрасный теоретик искусства.

Но, конечно, все его схемы были бы бесплодны и мертвы, если бы сквозь них не прорывалось шамански экстатическое вдохновение. Полжизни он таил его от всех, даже от себя самого, полжизни ходил, как немой, именно потому, что те внешние формы, в которых его вдохновение могло бы излиться, еще не были им изобретены. Он должен был стать Эдиссоном своего собственного слога и стиля, кропотливо искать и обдумывать, чтобы наконец-то его „варварский визг“ мог как-нибудь прорваться наружу. И результаты оказались разительные. Неправильный, будто пьяный, ритм его стиха, в сущности так податлив, так гибок, так нервно и чутко подчинен каждой мимолетной эмоции, что никакие гладко-размерные строфы не могли бы состязаться с ним. Каждому биению крови соответствует свой размер, и в пульсации разнообразных темпов чувствуешь пульсацию сердца, словно ты приложил к нему руку. „Слова моей книги — ничто, порыв ее — все“. Отсюда это изумительное впечатление, будто у него не описание страсти, а самая страсть, и даже когда он пишет о своих любовных ночах, кажется, он пишет на

[1]) Richard Maurice Bucke. „Notes and Fragments Left by Walt Whitman“.

[2]) Эта газетная статья Оскара Уайльда на русский язык не переведена. Я познакомился с нею по 13-томному изданию Метуэна. Она называется The Gospel According to Walt Wihtman („Евангелие от Уота Уитмэна“) и напечатана среди его литературно-критических заметок (Reviews).

брачной постели, тут же, в об'ятиях женщины, чтобы каждый ритм его буйно-страстных порывов был передан ритмом стиха. Потому-то он и вправе сказать о своей единственной книге:

Камерадо! это не книга:
Кто коснется ее, тот коснется меня.

А если вся книга — он сам, если в ее слоге, в ее стиле отражается его походка, его кровообращение, его аппетит, то вся эстетика в нем же самом. Нужно думать не о дактилях или спондеях, не о косметических прикрасах стиха, не о фигурах и тропах, а только о себе, о душе. Чтобы создать поэму, ты должен создать себя. Усовершенствуй свой дух, и ты усовершенствуешь свой стиль. „Пойми, что в твоих писаниях не может быть ни единой черты, которой не было бы в тебе же самом. Если ты злой или пошлый, это не укроется от них. Если ты любишь, чтобы во время обеда за стулом у тебя стоял лакей, это скажется в твоих писаниях. Если ты брюзга или завистник, или не веришь в загробную жизнь, или низменно смотришь на женщин, — это скажется даже в твоих умолчаниях, даже в том, чего ты не напишешь. Нет такой уловки, такого приема, такого рецепта, чтобы скрыть от твоих писаний хоть какой-нибудь из'ян", — твердил поэт, обращаясь к себе самому перед тем, как создать свою книгу. Таким образом, его поэтика вся преображается в этику, — сказалась-таки пуританская кровь! Готовясь служить искусству, он прописывает себе строгую диэту; приступая к поэтическому подвигу, он заповедует себе самому: „вот что ты должен делать: люби солнце, землю, животных; откажись от богатства; отдай свою жизнь ближнему; ненавидь угнетателей; не думай о Боге; не кланяйся никому и ничему, — и самое тело твое станет великой поэмой, и даже молчащие губы будут у тебя красноречивы". В этих суровых канонах виден великий эстет. Он знает, что красота не в отдельных деталях, как бы они ни были изящны, а в гармонии всех деталей, как бы они ни были урод-

ливы. Он не хочет создавать поэмы: он хочет вдохнуть в нас свой дух, чтобы вместо него мы сами создали поэмы для себя:

Побудь этот день, эту ночь со мною,
И ты сам станешь источником всех на свете поэм.

Он жаждет заразить нас собою: не образы создать, а импульсы.

Если он не создатель поэм, он создатель поэтов. Он хотел бы стать этакой динамо-машиной, от которой к каждому шел бы могучий электрический ток. Но чтобы другие могли заразиться тобою, умей и сам заразиться их душами:

— У раненых я не пытаю о ране, я сам становлюсь тогда раненым, — здесь величайший эстетический принцип, который только знает искусство! Не нужно описывать вещи, нужно отождествлять себя с ними:

Когда ловят воришку, то ловят и меня, мы оба — на скамье подсудимых, нас обоих сажают в тюрьму.
Умирает холерный больной, я тоже умираю от холеры.
Лицо мое стало, как пепел, у меня корчи и судороги, люди убегают от меня.
Нищие в меня воплощаются, я воплощаюсь в них,
Я конфузливо протягиваю шляпу, я сижу и прошу подаянья.

Доведи свое сорадование, сострадание, сочувствие до полного слияния с чужою душою, преобразись, превратись в того, о ком ты поешь или плачешь, и все остальное приложится: ты найдешь и прекрасные образы, и мудрые эпитеты, и тонко-изощренные ритмы. Высшее напряжение любви будет высшим триумфом искусства. Воистину, такая эстетика могла возникнуть только в демократии, которая так богато насыщена чувством всяческого равенства и тождества. Уитмэн вообще любил об'яснять формы своей поэзии ее демократичностью:

— У меня не любовные стансы для дам, страдающих запором желудка! Прочь эту сахарную патоку рифм! — писал он в своей „Песне о выставке“. По его словам, он истратил несколько лет, чтобы вытравить из своей книги все фокусы, эффекты, прикрасы и вычуры обыч-

ной общепринятой поэзии, ибо видел в них отжитые традиции умирающей феодальной культуры, наследие аристократического мира.

„У нас в Америке такие безумные ветры, такие сильные люди, такие грандиозные события. У нас величайшие океаны, высочайшие горы, безграничные прерии, — куда же нам эти мелкие штучки, сделанные дряблыми пальцами!“ — говорит он о тогдашних американских стихах. По его словам, он бессознательно принял тот вызов, который был сделан современной поэзии пробуждением народных масс и разрушением общественных перегородок; ради демократии, он отверг всю прежнюю эстетику, прежние литературные сюжеты, прежних героинь и героев. В той же самой „Песне о выставке“ он гонит прочь из нашей поэзии и Мерлина, и Роланда-оруженосца, и рыцаря Ланселота, всех, кого втечение веков воспевали величайшие национальные барды; он призывает музу бежать из Эллады, покинуть Парнас, забыть германский и французский эпос, и прилететь в Америку, на тротуары больших городов, воспеть не отдельных людей, но великую бессмертную толпу. Всю свою поэтическую миссию он видел именно в этом:

— „Я пришел затем, чтобы осенить серые массы Америки светом героизма и величия, которым греческие и феодальные поэты осеняли своих богов и героев“...

Для этой новой темы нужны новые, небывалые формы. У локомотива есть собственный ритм, и улица Чикаго звучит по другому, чем древние пастбища Аркадии. В одной песне Уитмэн выражает желание, чтобы по его стихам промчался с грохотом и свистом паровоз и наполнил бы их своей музыкой; обращаясь к паровозу, он говорит:

Красавица с яростной глоткой!
Твоя музыка — не сладенькое треньканье арфы,
Твои трели — буйные вопли, рождающие отзвуки в горах!

Вот какова должна быть поэзия грядущих демократических масс; вот формы, которые пытался придать ей Уот Уитмэн.

Но скажут: это все теории, поэзия тут не при чем! Сочиняй какие хочешь программы и правила, от этого великим поэтом не станешь. Уитмэна не раз упрекали за то, что он весь во власти программ и теорий, фабрикует свои стихи по рецепту, что его писания рассудочные, идут из головы, а не из сердца, что он даже оптимистом сделался не по собственной воле, а, так сказать, по должности демократического барда; решил, что демократический бард должен быть таким-то и таким-то, и вот, выполняет задуманное [1]).

В этих упреках есть доля правды, но — весьма незначительная. Действительно, Уитмэн теоретик поэзии, но чего бы стоили теории Уитмэна, если бы он не был поэтом! Никогда не удалось бы ему придать своим стихам ту гипнотизирующую заразительность музыки, которой он особенно силен. Одно дело излагать свои мысли в статьях, а другое — лирически навевать их на читателя. Уитмэн, именно, навевает их, как и всякий другой лирический поэт. У него есть дар внушения, без которого поэзия немыслима. Вообще, когда привыкнешь к нему и забудешь все его теории, видишь, что он такой же поэт, как другие. Его стихи хороши не потому, что он демократ, а потому, что он поэт. Никакие теории и лозунги не помогли бы ему создать „Сон Колумба", „Плавание в Индию", цикл стихов о Линкольне. Когда читаешь эти стихи о Линкольне, кажется, что где-то, в величавом соборе слышишь реквием, сыгранный на грандиозном органе каким-то могучим виртуозом. Поэма начинается рыданиями, — и невозможно понять, каким изумительным способом Уитмэну удалось добиться того, чтобы его неуклюжие строки ритмически изображали рыдания. Эти рыдания не мрачные: чем дальше, тем яснее слы-

---

[1]) Смотри, например, статью английского романиста Роберта Луиза Стивенсона в его книге „Непринужденные заметки о людях и книгах". Статья так и начинается: „Уитмэн приспособляет поэзию к заранее сочиненной системе. Прежде чем стать поэтом, он был теоретиком в области социальных идей. Он раньше увидел, что чего-то не хватает, а потом уже принялся за работу, чтобы заполнить пробел... Вся его поэзия предумышленная (preconceived)".

шится в них радостная победа над болью, постепенное преображение скорби в широкий, вселенский восторг. Этой музыки не даст никакая теория. Ритма подделать нельзя. Ритм — биение крови.

Столько же музыкальна и композиция этой поэмы, основанная на чередовании трех лейтмотивов, которые, то появляясь, то исчезая опять, создают сложный и своеобразный музыкальный узор.

Самая хаотичность поэзии Уитмэна изобличает в нем тонкого мастера. Ее беспорядочность есть в сущности строгий порядок. Попробуйте сделать опыт: перетасовать образы в любом из его каталогов; вы увидите, что это невозможно: так прочно спаяны они между собой. Издали это бесформенная груда самых пестрых разнообразных вещей, сваленных как попало, но троньте в этой груде хоть пылинку, и вся груда рассыплется прахом.

Как и всякий большой поэт, Уитмэн был старательный чеканщик эпитетов, которые выходили у него тем эффектнее, что он не щеголял ими, а ронял как-будто нечаянно, словно не замечая их. К сожалению, в переводе они теряют свою остроту: когда fan-shaped explosion переводишь — веерообразный взрыв, а elastic dawn — эластичный рассвет, это пожалуй, точно, но звучит претенциозно и вычурно [1]).

---

[1]) Вообще, мне кажется, что сколько-нибудь близкий перевод Уота Уитмэна невозможен, — хотя бы потому, что, во-первых, русские слова длиннее английских, а во-вторых, английский синтаксис дает Уитмэну право сжимать фразу до крайних пределов, что совершенно несвойственно нашему синтаксису. Когда Уитмэн, напр., говорит о паровозе

Fierce-throated beauty,

переводчику приходится переводить описательно:

Красавица с яростной глоткой;

ибо по-русски нельзя же сказать: „яростно-глоточная красавица".

Это приводит к тому, что нарочито-неуклюжие стихотворения Уитмэна выходят по-русски еще более неуклюжими и вялыми. Строки его поэм и без того непомерно длинные, оказываются в русском переводе чуть не вдвое длиннее, тягучее, что производит впечатление дряблости. Для того, чтобы сделать свой перевод энергичнее, я поневоле жертвовал некоторыми, менее ценными словами и фразами, т. е. делал то, что делают все переводящие поэтов стихами. Думаю, что это единственный правильный метод, ибо при подстрочном переводе стихи Уитмэна становятся скучной, надоедливой прозой, нисколько непохожей на подлинник.

VII

Я уже упоминал о том письме, которым знаменитый Эмерсон приветствовал неведомого наборщика Вальтера Уитмэна, только что издавшего свою первую книгу. Приведу это письмо целиком:

„Конкорд, Массачузетс, 21 июля 1855 года.

Милостивый государь!

Только слепой не увидит, какой драгоценный подарок ваши „Листья травы“. Мудростью и талантом они выше и самобытнее всего, что доселе создавала Америка. Я счастлив, что читаю эту книгу, ибо великая сила всегда доставляет нам счастье. Это именно то, чего я всегда добивался, потому, что слишком бесплодны и скудны становятся здесь, на Западе, души людей, будто они изнурились в чрезмерной работе, или у них малокровие и они обрюзгли, разжирели. Поздравляю вас с вашей свободной и дерзкой мыслью. Радуюсь ей бесконечно. Для своих несравненных образов вы нашли несравненные слова, как раз такие, какие нужны. Всюду обаятельная смелость манеры, которую может внушить только истинная широта мировоззрения.

У порога великого поприща приветствую вас. К этому поприщу вас, несомненно, привел какой-то долгий и трудный путь.

Мне так захотелось увидеть моего благодетеля, что я чуть было не забросил работу и не поехал в Нью-Йорк, чтобы засвидетельствовать вам уважение.

Р. В. Эмерсон“

„Дорого заплатит мистер Эмерсон своей репутацией за тот пыл, с которым он ввел Уота Уитмэна в американское общество“, — соображали журналы, когда Уитмэн, ко всеобщему скандалу, самовольно напечатал в следующем издании „Побегов травы“ это частное, интимное письмо. Американцы были до того смущены, что, по словам Платта, предпочитали думать, будто их

Эмерсон на время сошел с ума. У Эмерсона в ту пору было влияние огромное. Янки звали его своим литературным банкиром. Они говорили, что бумаги, прошедшие через его руки, и монеты, прозвеневшие у него на столе, без опаски принимаются всюду всеми другими конторами. Но и он рисковал обанкротиться, повышая акции Уитмэна. Впрочем, нужно отметить, что его энтузиазма хватило только на одно это письмо. Вскоре он познакомился с Уитмэном лично — и почти охладел к его книге. Во всяком случае, через несколько месяцев, посылая в Англию „Листья травы" своему любимому Карлейлю, Эмерсон пишет о них без прежней уверенности, двусмысленно и даже иронически:

„В Нью-Йорке нынешним летом появилась некая книга, — невообразимое чудище, пугало со страшными глазами и с силой буйвола, — насквозь американская книга, — я было думал послать ее вам, но кому я ни давал ее прочесть, всем она внушала такой ужас, все видели в ней столько безнравственности, что я, признаюсь, воздержался. Но теперь, быть может, и пошлю. Она называется „Листья травы", была написана и собственноручно набрана одним типографским наборщиком из Бруклина, неподалеку от Нью-Йорка, по имени Вальтер Уитмэн. Пробегите ее и, если вам покажется, что это не книга, а просто список разных товаров, предназначенных для аукциона, раскурите ею свою трубку..."

Главное, что смущало Эмерсона в книге Уитмэна — это „Адамовы дети". Так были озаглавлены стихи, посвященные половым страстям.

Эти стихи, как известно, вызвали в филистерских кругах ни с чем несравнимую панику, но нужно ли указывать, что великая тайна рождения, „посев человеческих душ" — для Уитмэна не скабрезный секрет, а неизреченное религиозное таинство. В минуты брачных экстазов он, по словам его книги, чувствует себя причастником вечности, касается каких-то внемирных высот, выходит за грани своего бытия, освобождается от призрачных оков времени, пространства, причин и целей, от иллюзии своего самоценного *я*; для него эти

мистически-страшные, испепеляющие душу мгновения служат верным, неопровержимым залогом божественной сущности мира:

Прямо смотрю я из времени в вечность
И пламя твое узнаю, солнце мира. *Фет.*

Такое чувство в его книге всегда, но сильнее всего оно именно в эти минуты, которые у него так экстатичны, что, кажется, продлись они долее, его сердце разорвалось бы от них:

О, брак! О, брачный восторг!
Если бы ты продлился дольше этого краткого мига,
Ты непременно убил бы меня!

Уитмэн, как индусы, как Уильям Блэк или Фет, чувствовал всей своей кровью, что от звездного неба до малой пылинки все в мире воплощение божественного. Хотя он с таким рубенсовским фламандским плотолюбием изображал наш осязаемый мир, — амбары, погребальныце дроги, женщин, жеребцов, маляров, — он никогда не забывал, что это м а й я, „миражи на пути сновидений“, что —

...люди, животныя, травы —
Только привидения, не больше,

и жаждал рассеять эти привидения, увидеть то, что сокрыто за ними, за „предметами предметного мира“. Одним из путей к этой божественной Сущности были для него половые восторги: здесь для него полное освобождение от пут бытия:

Это—женское тело.
Я как беспомощный пар перед ним, все с меня упадает тогда:
Книги, искусства, религия, время, и то, чего я ждал от небес,
и то, что меня ужасало в аду —
Все исчезает пред ним,—

читаем мы в одной его поэме. В [другой—он кричит своей „сораспятой“ жене:

Что это в вихрях и бурях освобождает меня?
О чем, отчего я кричу среди молний и лютых ветров?
О, загадка, о, трижды-завязанный узел, о, темный, глубокий омут,—сразу распуталось все и озарилось огнем!
О, наконец-то умчаться туда, где достаточно простора и воздуха!
О, вырваться на волю от прежних цепей,—ты от твоих и я от моих,
Снять наконец-то замок, замыкавший уста,
Сорваться со всех якорей!

Вот что такое были для него половые миги (native moments): огненное грозовое озарение омута жизни, очистительное крещение. То, что для многих—предмет экчвоков и хихиканий, для Уитмэна есть путь к боговидению. В личной жизни Уитмэн был даже как-то нарочито, преувеличенно чист. Никто даже из самых близких друзей не слыхал от него ни одного непристойного слова. Он всюду вносил с собою атмосферу целомудренной опрятности [1]).

Темные „гиероглифы пола" имели у нас в России своего истолкователя—Розанова. Было бы весьма поучительно сопоставить брачные песнопения Уитмэна с писаниями русского автора. Оказалось бы, что эти два человека, ничего друг о друге не знающие, отрезанные друг от друга океаном, разделенные многими десятками лет, как заговорщики, вещали невнемлющему и равнодушному миру одну и ту же—никому, кроме них,

[1]) Теперь кажутся чрезвычайно забавными те негодующие ханжеские рецензии, которыми в Америке и в Англии были встречены „Адамовы дети". Недавно, перелистыв я фундаментальный английский журнал «Westminster Review» за 1860 г., я увидел такую заметку:

„Если бы творения мистера Уитмэна были напечатаны на бумаге столь же грязной, как они сами, если бы книга имела вид, обычно присущий литературе этого сорта,—литературе, недостойной никакой иной критики, чем критика полицейского участка, мы обошли бы эту книгу молчанием, так как, очевидно, она не имеет никакого касательства к той публике, с которой беседуем мы Но когда книжка, содержащая в себе такое количество наглого бесстыдства и грязи, какое может в ней уместиться, преподносится нам во всем блеске типографского искусства, то...", конечно, отсюда для этого мистера Пексниффа явствует, что нравственное разложение Соединенных Штатов чревато роковыми последствиями.

недоступную — истину о трансцендентной магической сущности Пола. Все самые прихотливые домыслы Розанова о том, что душа это — пол, что всякая религия струится от пола, что наша человеческая многосложная личность есть только модификация, трансформация пола, что гений есть половое цветение души, что чадозачатие есть главный мистический акт, где человек актом участия своего сводит душу с домирных высот, что вдохновение пророка, поэта, ученого есть вдохновение пола, — все эти ощущения Розанова были предвосхищены Уотом Уитмэном. Конечно, Розанов — исхищренный, извилистый, кокетливо-лукавящий писатель, а Уитмэн — варварски-прямолинеен, без оттенков и тонкостей, но тема у них — одинаковая, и даже — в основном и главнейшем — излагают они ее одинаково, словно списывая один у другого. Правда, Уитмэн высказывает свои ощущения в виде кратких категорических формул, словно высеченных раз навсегда на граните, а Розанов дребезжит и хлопочет, но если бы к лаконическим стихам Уота Уитмэна пришить такие статьи В. В. Розанова, как „Афродита и Гермес“, „Семья как религия“, „Из загадок человеческой природы“, „Колеблющиеся напряжения в поле“, — эти статьи показались бы комментариями, специально написанными для истолкования Уитмэнова текста.

Уот Уитмэн, например, говорит:

Мой пол, это—кормчий всего моего корабля...
Бедра, груди, сосцы, это—не только поэмы тела,
Это поэмы души, и сами они—душа.
Пол—вместилище плотей и душ;
Если тело мое не душа, что же тогда душа?

И Розанов, словно комментируя эти вещания, пишет:

— Центр души лежит в поле. Душа и пол идентичны. Утрата динамического в поле параллельна утрате динамического в душе. Душа имеет в себе пол. Пол в нас и есть душа.

Уот Уитмэн повторяет многократно:

Нет на свете святыни, если тело человека не свято...
Боги исходят из пола...

И Розанов твердит вслед за ним:

— Самое существо, ткань, жизнебиение человека есть молитва. Акт супружеской любви есть акт религиозного культа. Пол и действительная религия имеют корневое тождество. А-сексуалисты есть в то же время и а-теисты. Пол это — ковчег, где сокровенно сохраняется какая-то вещая и неистощимая, льющаяся в мир святость.

Уитмэн говорит:

Мои песни омыты Полом,
Бедрами моими рождены.

Розанов:

— Мысль, гений, всякие прозрения философские лучатся из пола. Толстой, Лермонтов и Достоевский — чресленные, беременные писатели, потому-то их творения гениальны, потому-то им и дано мистическое чувство вечности, чувство соприкосновения нашего таинственным мирам иным.

Неиссякаемость наших рождающих недр, непрерывность нашего многовекового отцовства, ветвление и ветвление человека — для них обоих религиозная радость. Уитмэн о каждом мужчине твердит:

Он не один, он отец тех, кто станут отцами и сами,
Многолюдные царства таятся в нем, гордые, богатые республики,
И знаете ли вы, кто придет от потомков потомков его!

А Розанов вслед за ним слово в слово:

— Человек живет целой колонийкой через 200 лет, целым селом через 400 лет, целым народом через 1000 лет. Я не умираю вовсе, а умирает только мое сегодняшнее имя. Тело же и кровь продолжают жить — в детях, в их детях снова, и затем опять в детях — вечно!

Любопытно, что распаляемый этой мыслью Розанов начинает писать **уитмэнским стилем**, ничего никогда не слыхавши об Уитмэне:

Я размножился — и живу в детях, внуках, в сотом поколении —
Я тысячею рук работаю в человечестве,
Я обоняю все запахи мира,

Делаю все профессии...
Адам — я, бесконечный потомок наш,
Меняющий лица, ремесла и обитаемые страны, учащийся или
хлебопашествующий, несчастный и счастливый но один [1]).

Но сексуальность Уитмэна идет еще дальше, чем Розановская. Розанов никогда не сексуализировал мир, а Уитмэну часто все видимое казалось воплощением пола: ствол орешника, шелуха скорлупы, зреющие и созревшие орехи, запах лимонов и яблок, безумная летняя голая ночь —

У тебя обнаженные груди,
Крепче прижмись ко мне, магнетически пьянящая ночь.

Даже землю он любил, как женщину:

Ты далеко разметалась, земля, вся в ароматах зацветших яблонь,
Улыбнись, потому что пришел твой любовник.

В нашем современном быту, где супружество — рабья повинность, эти песни кажутся столь неуместными, словно они спеты на далекой планете для существ, непохожих на людей, но ведь Уитмэн пел не для своих современников, а для будущих — перерожденных свободою душ. Он так явственно видел тот праздничный быт, который рано или поздно будет нашим, что заранее — пророческою мечтою — жил в этом вожделенном быту, словно этот быт стал действительностью, словно каждый из нас — полновластный хозяин вселенной. Женщины, которым он посвящает поэмы, созданы этим будущим бытом: это не рабыни будуаров и обывательских семейных очагов, а вольные матроны-атлетки, взлелеянные демократическим веком:

От пламенных солнц и буйных ветров у них загорелые лица,
Божественна древняя гибкость их тел,
Они умеют скакать на коне, плавать, грести, бороться, бегать,
стрелять, отступать, нападать, защищаться.
Они ясны, гармоничны и спокойны.

---

[1]) У Розанова это напечатано в виде прозы. Для наглядности я печатаю это в виде стихов, не изменяя в цитате ни единого слова.

На дуалистическом противоположении плоти и духа зиждилась вся средневековая культура, пережитками которой и доселе живет наше европейское общество. Уитмэн, переселившись мечтою в грядущую эпоху Науки и Демократии, естественно, почувствовал себя освобожденным от всяких навождений аскетизма. Он не был бы поэтом науки, если бы в природе человека нашел хоть что-нибудь ничтожным, нечистым, презренным: для науки ничто не ничтожно, она не презирает ничего. Он не был бы поэтом демократии, если бы для органов тела ввел какую-то табель о рангах, разделил их на дворян и плебеев, на белую и черную кость, если бы они не были для него равноправны, если бы он каждому из них не предоставил свободы — выражать себя наиболее полно. Здесь для него — ни высших, ни низших, никакой иерархии, —

Совокупление у меня в таком же почете, как смерть,
Кожа, веснушки и волосы,
Ребра, живот, позвоночник, суставы спинного хребта,
Все очертания мужского или женского тела, все позы, все его части

для Уитмэна демократически равны между собой, и это для него не доктрина, не голая формула, а живое, тревожное чувство...

Нисколько не странно, что Эмерсон, которого Уитмэн звал своим учителем, духовным отцом, оказался горячим противником этих сексуальных поэм. Зимою 1860 года, когда Уитмэн подготовлял к печати третье издание своей книги, Эмерсон внезапно явился к нему и стал настойчиво требовать, чтобы он из'ял из нее непристойные строки.

„Ровно двадцать один год назад, — вспоминает в своих мемуарах поэт, — добрых два часа прошагали мы с Эмерсоном по Бостонскому лугу под старыми вязами. Был морозный, ясный февральский день. Эмерсон, тогда в полном расцвете всех сил, обаятельный духовно и физически, остроумный, язвительный, с ног до головы вооруженный, мог, по прихоти, свободно властвовать над вашим чувством и разумом. Он говорил, а я слу-

шал — все эти два часа. Доказательства, примеры, убеждения, — вылазки, разведки, атака (словно войска: артиллерия, кавалерия, инфантерия!), — все было направлено против моих „Адамовых детей“. Дороже золота была мне эта диссертация, но странный, парадоксальный урок извлек я тогда же из нее: хотя ни на одно ее слово я не нашел никаких возражений, хотя никакой судья не выносил приговора убедительнее, хотя все его доводы были подавляюще неотразимы, все же в глубине души я чувствовал твердую решимость не сдаваться ему и пойти своим неуклонным путем. — Что же вы скажете на это? — спросил Эмерсон, закончив свою речь. „Скажу лишь одно: вы правы во всем, у меня нет никаких возражений, тем не менее, после ваших речей, я еще крепче утвердился в своей вере и намерен еще ревностнее исповедывать ее...“

„После чего, — прибавляет Уитмэн, — мы пошли и прекрасно пообедали в American House“.

В исповедании своего символа веры он вообще был гениально-упрям. Когда раз'яренная критика проклинала его книгу за безнравственность, он, издавая эту книгу вторично, не только не исключил из нее тех стихов, которыми все возмущались, но усугубил ее непристойность, включив еще более жгучие строки, как, например, „Женщина ждет меня“ и т. д. В 1881 году его книгу взялась издавать солидная американская фирма Озгуда, и, когда книга была отпечатана, издательство, по настоянию бостонских властей, предложило поэту из'ять из нее некоторые неудобные строки. Поэт ответил безапелляционным отказом, хоть это грозило ему разорением, ибо он знал, что издатели не согласятся печатать и распространять его книгу. Мало того, он потребовал, чтобы после его смерти никто не смел издавать „Листья травы“ без этих „непристойных“ стихов.

У него есть специальная статейка, написанная в виде комментария к „Адамовым Детям“; там он указывает, как пагубно для культурного человечества замалчивание половых вопросов; по словам Уитмэна, этот обычай противен эстетике, науке и религии. Множество мучительных браков, неудачных родов, ужасных болез-

ней вызвано этим лицемерным обычаем. Пора отказаться от него. Именно Америка должна показать в этом отношении пример. Ценою жертв, подвигов, многовековой борьбы мы добыли себе разные политические и религиозные вольности; теперь мы должны добиться и этой вольности: права свободно и открыто говорить обо всем, что относится к нашему полу,—если не в так называемом „свете", то в серьезных книгах, в серьезных стихах, среди серьезных людей. „В своей книге, — продолжает Уитмэн, — я старался показать, что половое влечение, если оно не извращено, есть само по себе вполне законная, почтенная и нисколько не зазорная тема для поэта, в той же мере, как и для ученого... Разве не должен всякий физиолог, всякий хороший врач добиваться, чтобы этот сюжет, являющийся ныне достоянием пошляков и мерзавцев, вошел, наконец, в область поэзии, как нечто такое, что не только не грязно и не пошло само по себе, но, напротив, является непременным условием высшей мужественности и высшей женственности"... Далее Уитмэн напоминает, что, по сказанию Библии, когда Бог создал вселенную, в том числе и человека со всемиего страстями, вожделениями, органами, Он посмотрел на созданное и увидел, что все хорошо. Значит, эти вожделения не греховны, если они нравятся Богу.

Из всей Библии Уитмэну был дороже всего именно этот текст. Вся его поэзия проникнута чувством, что Бог своим миром доволен, что все в этом мире находится в полной гармонии с творческой волей Создателя. Но, конечно, эта статья не нашла в Америке отклика. Засилье пуританских убеждений там и до сих пор велико. Еще недавно, по сообщению газет, в штате Миссури вступил в силу новый закон, запрещающий выставлять в общественных местах обнаженные статуи; статуи Венеры, Аполлона, Купидона и др. должны быть задрапированы плотной материей. Замужние артистки в театрах должны представлять свидетельства, что они состоят в законном браке со своими мужьями. Нужна была незаурядная смелость, чтобы в такой среде выступить с такими стихами.

Замечательно, что позднейшие издатели стихов Уота Уитмэна неизменно указывали в своих рекламах, что эти стихи — идеал чистоты, причем ссылались на свидетельства служителей церкви.

Так, в об'явлении филадельфийской издательской фирмы Дэвида Мак Кэя читаем:

„Преподобный мистер Чэдвин, выдающийся унитарианский священник, заявил недавно, что, по его мнению, „Листья травы“ не содержат в себе ни единой строки, в которой не сказались бы чистые и возвышенные стремления автора. Преподобный мистер Морроу — священник методистской епископальной церкви, смело выступил на защиту этой книги и провозгласил, что она могуча и мужественна, но никак не грязна. Преподобный В. Дж. Фокс, этот блистательный пастырь англиканской церкви, доблестный и просвещенный солдат британской демократии, идеалист и теист, прикрыл ее щитом своих похвал, утверждая, что, насколько ему известно, в обычных формах человеческих дел ни разу еще не отражались столь ясно мужская добродетель и скромность, и что со временем эта книга станет своего рода учебником, откуда будут черпать цитаты полновесные, как золото, пригодные для всех обстоятельств физической и духовной жизни“.

Эту рекламу я прочитал на последней странице „Полного Собрания Сочинений Уота Уитмэна“ в издании вышеназванной фирмы (Philadelphia, 1897). Она заимствована из письма О'Коннора в редакцию нью-йоркской „Трибуны“.

Но, конечно, это только реклама, и священники, названные здесь — исключение.

VIII

Едва только Уитмэн издал свою книгу, как его, по совету Эмерсона, посетил молодой журналист — священник Монкюр Дэниэл Конуэй — в сентябре 1855 года. Уитмэн жил тогда вместе с матерью на своем родном Долгом Острове. „Жара стояла страшная, — пишет Конуэй. — Термометр показывал 35 градусов. На выгоне

хоть бы деревцо. Нужно быть огнепоклонником и очень набожным, — думалось мне, — чтобы удержаться под этаким солнцем. Куда ни глянешь, пусто — ни единой души. Я уже готов был вернуться, как вдруг увидел человека, которого я искал. Он лежал на спине и смотрел на мучительно-жгучее солнце. Серая рубаха, голубовато-серые брюки, голая шея, загорелое, обожженное солнцем лицо; на бурой траве он и сам часть земли: как бы не наступить на него по ошибке. Я подошел к нему, сказал ему свое имя, об'яснил, зачем я пришел, и спросил, не находит ли он, что солнце жарче, чем нужно. — Нисколько! — отвечал он. Здесь, по его словам, он всего охотнее творит свои „поэмы". Это его любимое место. Потом он повел меня к себе. Крошечная комнатка, в пятнадцать квадратных футов, глядит своим единственным окном на мертвую пустыню острова [1]); узкая койка; рукомойник, зеркальце, прибитое к стене, сосновый письменный столик, гравюра Бахуса, на другой, насупротив, Силен. В комнате ни единой книжки... У него, говорил он, два рабочих кабинета — один на верхушке омнибуса, другой на той небольшой пустынной груде песку, которая зовется Coney Island. Много дней проводит он на этом острове в полном одиночестве, как Робинзон. Литературных знакомств у него нет, если не считать той репортерской богемы, с которой он сталкивался иногда в пивной у Пфаффа.

„Мы пошли купаться, и я, глядя на него, невольно вспомнил Бахуса там, на гравюре. Жгучее солнце облекло бурой маской его шею и его лицо, но тело осталось ослепительно-белое, нежно-розовое, с такими благородными очертаниями форм, замечательных своей красотой, с такою грацией жестов... Его лицо — совершенный овал; седоватые волосы низко острижены и вместе с сединой бороды так красиво нарушают впечатление умилительной детскости его лица. Первую радостную

[1]) Уитмэн родился в 30 милях от Нью-Иорка, на Долгом Острове (Лонг-Айленде), близ городка Хентингтона. Это длинная полоса земли, имеющая форму рыбы. Прежнее индейское название острова — Поманок.

улыбку заметил я у него, когда он вошел в воду. Если он говорит о чем-нибудь увлекательном, его голос, нежный и мягкий, замедляется, и веки имеют стремление закрыться. Невозможно не чувствовать каждую минуту истинности всякого его слова, всякого его движения, а также удивительной деликатности того, кто был так свободен со своим пером".

Статья Конуэя была напечатана в „Fortnightly Review" 15 окт. 1866 года. Дальнейших ее строк не привожу, так как, по свидетельству многих [1]), они не вполне достоверны. Янки-журналист переусердствовал и, по репортерскому обычаю, сделал из Уитмэна такую эффектную фигуру, что потом и сам признавался в фантастичности своего рассказа. (См. Léon Basalgette. Walt Whitman. L' Homme et son oeuvre. Paris. 1908. p. 154—156. Isaak Hull Platt. Walt Whitman. Boston, 1904, p. 34).

Монкюр Дэниэл Конуэй (1831—1907) был и сам человек незаурядный. Под влиянием Эмерсона он отрекся от своих религиозных убеждений, стал пламенным бойцом за освобождение негров, за что и подвергся гонениям. Он был одним из лучших американских журналистов той поры. Им написано много книг, в том числе об Эмерсоне, Карлейле, Томасе Пэйне и др.

IX

Тогда же Уитмэна посетил Генри Тóро, поэт-натуралист, тоже замечательная личность; в письме к одному знакомому Торо описывает свои впечатления так:

„Быть может, Уитмэн—величайший в мире демократ... Замечательно могучая, хотя и грубая натура. Он в настоящее время интересует меня больше всего... Я только-что прочитал его книгу, и давно уже никакое чтение не делало мне столько добра. Он очен смелый и очень *американский*. Я не думаю, чтобы проповеди, все до единой, сколько их было, могли бы сравняться с его книгой. Мы должны радоваться, что он

[1]) Хотя бы О'Коннора—в письме к Таубриджу (см. Bliss Perry „W. W.", p. 180).

появился. Порою мне в нем чудится сверхчеловеческое. Его не смешаешь с другими жителями Бруклина или Нью-Иорка. Как они должны дрожать и корчиться, читая его. Это-то в нем и превосходно. Правда, порою мне кажется, что он меня надувает. Он такой широкий и щедрый; и только что моя душа воспарит и расширится и ждет каких-то чудес, словно возведенная на гору, — как вдруг он швырнет ее вниз, — вдребезги, на тысячу кусков. Хотя он и груб и бывает бессилен, он — великий первобытный поэт, его песня — трубный глас тревоги, зазвучавший над американским лагерем. Странно, что он так похож на индусских пророков; а когда я спросил его, читал ли он их, он ответил: „нет, расскажите о них" [1]).

Некоторыми сторонами своего творчества Tòро был близок Уитмэну. Американцы называют его своим Руссо. В американской литературе он почитается классиком; особенно ценятся его точные и вдохновенные описания природы, которую он умел наблюдать, как никто. Его книга „Вальден" переведена на русский язык и вышла в издательстве „Посредник". Tóро написал ее в хижине, которую построил своими руками в лесу. О нем существует огромная литература, но в России он почему-то не привился.

* * *

До сих пор еще жив широкоплечий веселый старик, ирландец Питер Дойл, сын кузнеца, кондуктор, ближайший приятель Уитмэна. О нем я уже говорил. Ему не было и двадцати, когда сорокалетний поэт познакомился с ним в Вашингтоне и привязался к нему, как к родному.

Это пылкое влечение Уитмэна к мужчине, к товарищу, особенно ярко сказавшееся в том цикле его поэм, который называется „Т р о с т н и к", всегда смущало его

[1]) Влияние индусов на Уитмэна установлено теперь с полной точностью. Характерно, что знаменитый индусский поэт Рабиндранат Тагор, наш современник, разительно сходствует с Уитмэном.—Tóро был большим знатоком ориентальной литературы.

комментаторов. „Право, есть какое-то сладострастие в мысли Уитмэна о таком единении мужчин“, — пишет Саймондс и не без тревоги цитирует слишком пламенные строки „Тростника“, посвященные Уитмэном мужчине:

Кто бы ты ни был, держащий теперь меня за руку,
Будет все бесполезно, если нет у тебя одного.
И я говорю берегись, кто хочет ближе подойти ко мне,
Я совсем не то, чем ты считал меня.

Ты хочешь пойти за мною?
Ты хочешь поступить в кандидаты моей благосклонности?
Знай же, что путь подозрителен, исход неизвестен; быть может, в нем гибель.
Ты должен отречься ото всего, я буду твой единственный закон

Твой искус будет долог и труден.
Нет, лучше теперь же расстанься со мною и без лишних хлопот сними с моего плеча твою руку.
Оттолкни меня прочь и ступай своею дорогой.

А не то проберемся куда-нибудь в чащу, там я испытаю тебя,
Спрячемся за скалою на вольном ветру!
Или, быть может, на высоком холме, оглядевшись на милю вокруг, чтобы никто не явился нежданно,
Или уйдя далеко в море, или на берег моря, или на пустынный остров,
Твои губы к моим я позволю тебе прижать
В долгом поцелуе товарища или новобрачного мужа,
Потому что я для тебя и товарищ, и новобрачный муж.

Если же ты согласишься и допустишь меня под одежду,
Я послушаю, как стучит у тебя сердце и отдохну у тебя на бедре.
И бери меня с собой, куда хочешь, по земле и по морю,
Прижаться к тебе — мне довольно, я счастлив,
Вечно дремал бы, прижимаясь к тебе, бери меня, куда хочешь!

Но, вникая в эти листья, ты можешь погибнуть;
Вначале они обманут тебя, а потом обманут еще больше, я же обману тебя непременно,
Чуть ты помыслишь, что ты меня настиг, я ускользну от тебя.
Ибо не ради того, что я вложил в эту книгу, я написал эту книгу,
И не чтением познается она,

И не те, которые неумеренно хвалят меня, не те, которые восхищаются мною, знают меня лучше всего.
И не только добро мои песни творят, они творят столько же зла, а может быть больше,
Потому что все бесполезно, если нет у тебя одного, о чем ты мог бы догадаться, на что я намекал тебе не раз,
Отпусти же меня и ступай своей дорогой.

добно большинству аристократов, я воспитывался в Гэрроу и Оксфорде, где, по слабости здоровья, больше предавался наукам, чем спорту, и был на пути к тому, чтобы сделаться скучнейшим педантом. В 1865 году здоровье мое так расшаталось, что, казалось, всякое житейское поприще было предо мною закрыто. Осенью того же года мой товарищ, проф. Майерс, прочитал мне вслух одну поэму из „Листьев травы". Предо мной, как сейчас, звучит его мелодичный голос, проникающий электрическим током в самые недра моего существа. Но недаром я двадцать лет был погружен в греко-латинскую культуру: мои академические предрассудки, мои литературные вкусы, изысканность и исключительность аристократического моего воспитания, — все это востанавливало меня против заскорузлого, нескладного и грубо-угловатого поэта. Его стиль возмущал меня, но вскоре Уот Уитмэн вполне излечил мою душу от этих постыдных немощей. Он научил меня понимать всю гармонию демократического и научного духа с той широкой всеоб'емлющей религией, к которой современное человечество направляется идеями всеобщего братства и научного постижения мира. Он придал плоть и кровь, конкретную жизненность тому религиозному чувству, которое слагалось во мне под влиянием Гете, римских и греческих стоиков, Джордано Бруно и основателей эволюционной доктрины. Он вселил в меня веру и заставил почувствовать, что оптимизм не блажь, не бессмыслица. Он радовал и облегчал меня в те черные, злые годы вынужденного безделья и умственного застоя, на которые обрек меня недуг. И что дороже всего, он помог мне избавиться от мелочности, узости и многих предрассудков нашего ученого сословия. Он открыл мне глаза на то, как благостна, красива, велика всякая человеческая личность, в каком бы положении она ни была. Благодаря ему, я братски породнился со всеми нациями и сословиями, без различия веры, касты, религии, образования. Ему я обязан лучшими своими друзьями — сынами земли, чернорабочими, теми „малограмотными силачами", которых он любил воспевать".

Но характерно, что величие Уитмэна признавали на первых порах только отдельные люди. В широких же литературных кругах его долго принимали с сомнением, с опаской, со множеством всяких но. У английских и американских критиков установился особый тон — полунасмешливый, полупочтительный, и предлагаемый отрывок, я думаю, вполне определит для читателя, как принято писать об Уоте Уитмэне в либерально-филистерских кругах. Это — из книги профессора Джона Никола „История американской словесности“.

„Под стать огромному телу, — пишет почтенный автор, — у Уитмэна многородящий мозг. И что ни родит это тело, и что ни родит этот мозг — все он пихает сюда, в свою могучую, дикую книгу. В результате — хаос впечатлений, мыслей, чувствований, смешанных в одно месиво, без всяких созвучий, что, пожалуй, не так и плохо; без всякого размера, что значительно хуже; порою без всякого смысла, что уж и совсем нехорошо. Нет никаких принципов просодии для чтения его стихов, а когда и случится напасть, наконец, на некоторый, едва уловимый, ритм — вот уже лежит на дороге какой-то чурбан и сбивает нас с рельсов... Даже пылкий почитатель Уитмэна [1]) должен был признать, что тот — формалист демократизма... и что истинная поэзия никогда не была в таком тесном союзе с неприкрытой доктриной, никогда еще сухой догматик не уживался так тесно с возвышенным пророком. Одно дело воспевать всякий труд и всякий промысел, а другое — наворотить в одну кучу названия всевозможных ремесл и ремесленных принадлежностей; воспевать все страны и земли отнюдь не значит забрызгивать страницу именами различных частей света и в таком виде оставлять их там.

„Если Шекспир, Китс и Гете — поэты, Уитмэн — не поэт. Он в этом отношении Athanasius contra mundum [2]). И хотя мы очень боимся прослыть пресными морали-

---

[1]) Здесь подразумевается Роберт-Луиз Стивенсон.

[2]) Athanasius contra mundum — „Афанасий против всего мира“. Афанасий Великий (293—373) был натура боевая, воинственная. Он

стами, мы не можем одобрить в Уитмэне его дерзкое отрицание того, что сделала цивилизация, чтобы поднять человека над дикарем или шимпанзе. Ни один из выдающихся писателей не был в такой мере лишен самомалейшего чувства юмора, как Уитмэн, и вследствие этого ни один даже из посредственных поэтов не доходил до таких абсурдов, как он".

Профессор Джон Никол (1833 — 1894) и сам был поэтом, высокоученым, но посредственным.

* * *

Оригинальнейший англо-американский писатель, англо-грек Лафкадио Герн, впоследствии об'японившийся, принявший японскую веру и женившийся на японке, был в юности нью-йоркским журналистом. В письме к одному другу Уота Уитмэна он отзывался о поэте так:

„Я всегда по секрету чтил Уота Уитмэна и порывался не раз излить свои восторги пред публикой. Но в журналистике это не так-то легко. Попробуй, похвали Уота Уитмэна, если издатель ежеминутно твердит: „Нашу газету читают в порядочных семьях". А будешь ему возражать, он скажет, что ты порнограф, любитель клубнички и проч.

„Конечно, я не ставил бы Уитмэна на такой высокий пьедестал, на какой его ставите вы, я не стал бы называть его гением, ибо гению, по-моему, мало одного умения творить: нужно, чтобы сотворенное было прекрасно! Материал бывает и хороший, да самое изделие — дрянь. К чему мне руда или дикие драгоценные камни, мне нужно чистое золото в дивных причудливых формах, мне нужны лепестковые грани брильянтов! А золото Уитмэна еще смешано с глиной, с песком, его изумруды и алмазы еще нужно отдать ювелиру. Разве был бы Гомер — Гомером, если бы океанские волны его могучих стихов не следовали одна за другой так размерно, ритмически-правильно? И разве все Титаны

боролся с императором, с еретиками и готов был выступить один против всего мира. Отсюда поговорка, указывающая на полное расхождение данного лица с общепринятыми вкусами.

античной поэзии не шлифовали своих слов, своих стихов по строжайшим законам искусства? Да, голос Уитмэна — голос Титана, но этот Титан под вулканом, его крик заглушен; потому-то он вопит, а не поет.

„Красота есть у него, да ее нужно искать. Сама она не сверкнет на тебя, точно молния, с первой же попавшейся страницы. Прочти его книгу внимательно, вдумчиво с начала и до конца, и только тогда ты постигнешь ее красоту. В ней античный какой-то пантеизм, но только выше и шире: что-то звездное и даже надзвездное; хотя мне, признаться, в нем любо наиболее земное, земляное. Один рецензент (о, забавник!) писал: „Мистеру Уитмэну так же доступны красоты природы, как они доступны животному". Ах, именно эта животность для меня и драгоценна в нем, не звериная животность, а человеческая, та, которую нам раскрывают древние эллинские поэты: несказанная радость бытия, опьяненность своим здоровьем, невыразимое наслаждение дышать горным ветром, смотреть в голубое небо, прыгать в чистую, глубокую воду и сонно плыть по течению, — пусть несет тебя, куда хочет!.. Он грубый, веселый, бесстрашный, простой. Пусть он не знает законов мелодии, но голос его — голос Пана. В этом буйном магнетизме его личности, его творений, в его широких и радостных песнях, в его ощущении вселенской жизни чувствуешь лесного античного бога, фавна или сатира, не карикатурного сатира наших нынешних дешевых классиков, но древнего, священного, причастного к культу Диониса и так же, как Дионис, обладающего даром целения, спасания, пророчества наравне с оргийным сладострастием, которое было в ведении этого двуполого бога.

„Здесь я вижу великую красоту Уота Уитмэна, великую силу, великую вселенскую правду, возвещенную в мистических глаголах, но самый певец, тем не менее, представляется мне варваром. Вы называете его бардом; еще бы! Его песни, как импровизации какого-то дикого скальда или лесного друида. Бард не бывает творцом, он только предтеча, только глас вопиющего в пустыне: уготовляйте путь для великого

певца, который идет за мною, — и вы, защищая, прославляя, венчая его творения, служите литературе будущего".

* * *

Полное собрание сочинений Уота Уитмэна издано в Нью-Йорке в десяти томах под редакцией О. Триггса (New-York, 1902).

Книга Уота Уитмэна „Листья травы" переведена частями или целиком на французский язык Габриелем Саразэном, Вилье Гриффэном, Леоном Базальжетом, на немецкий язык—Карлом Кнорцом, Фердинандом Фрейлигратом, А. Штродтманом, В. Шелерманом, К. Федерном, Т. В. Ролстоном (который известен также, как переводчик писателей русских, — близкий знакомый Тургенева); на голландский — Морицем Вагенвортом; на польский — М. Манчевским; на итальянский — Луиджи Гамберале; на датский — Рудольфом Шмитом; на русский — К. Д. Бальмонтом. В последнее время стали появляться в России переводы отдельных стихотворений Уитмэна, исполненные разными лицами. Так, в „Жизни для всех" (1910, № 8—9) напечатан „Барабанный бой" в переводе Бориса Бера; в „Чтеце-Декламаторе" стихотворение „Тебе" в переводе N. N. (т. IV, 1912, изд. 2-ое); в издании артели художников „Сегодня" вышли „Пионеры" в переводе М. С. (СПБ., 1918). Гомельское Издательство „Века и дни" об'явило, что оно готовит к печати „Неизданные стихи" Уота Уитмэна. В Тотьме вышло отдельной листовкой стихотворение Уитмэна „В бой поспешим мы скорей" (1918, с рис.) и т. д.

Постепенно поэзия Уитмэна входит в наш литературный обиход. И у себя на родине в последнее время он стал общепризнанным поэтом. В последнее время нет такой книги по истории американской словесности, где ему не отводили бы почетного места наряду с другими большими писателями. В последнем издании „Британской Энциклопедии", в Энциклопедии Чемберса, во всяких словарях и учебниках ему посвящены хвалебные статьи. Теперь его не принято бранить. Постепенно всем стало ясно, что он не выскочка без роду и пле-

мени, что у него есть глубокие корни в той почве, на которой он вырос, что он тесно связан с духовной жизнью своего поколения. Теперь уже никто не сомневается, что все основные идеи, высказанные им в „Листьях травы“, являются своеобразным развитием идей, так называемого, трансцендентализма, модного в то время мировоззрения, исповедуемого кружком американских писателей, во главе с Эмерсоном. Трансцендентализм возник в Новой Англии около 1830 года, т. е. как раз в годы юности Уота Уитмэна. Трансценденталисты веровали, что в каждом человеке есть сверх-душа, некое божественное я, которое выше Бога и всего мироздания, ибо и Бог и мироздание суть порождение этого я. Религиозен лишь тот, кто открывает Бога в себе. Совесть каждого человека выше всех религий и церквей.

Таково же, как мы видели, было убеждение Уитмэна. Вся его „Песнь о самом себе“ есть символ веры этого учения:

Я славлю себя, я воспеваю себя, и т. д.

Для того, чтобы человек мог пробудить в себе это божественное *я*, приобщиться к сверх-душе, — трансценденталисты звали его к природе. Стремясь к слиянию с природой, они основали в 1841 году нечто вроде толстовской колонии, сняли сообща молочную ферму, где и занимались хозяйством шесть лет. Это русское „хождение в народ“, „опрощение“ кончилось по русски: полным крахом. Ради такого же слияния с природой трансценденталист Генри Тòро (о котором мы сейчас говорили) ушел на два года в лес.

Уитмэн в своих стихах проповедует те же идеи. Его „Песнь о большой дороге“ — есть такой же призыв к опрощению, к слиянию с природой.

Даже культ дружбы, товарищества впервые учрежден трансценденталистами. Те видели в дружбе гармонию между нашим *я* и сверх-душой. Немудрено, что появление книги Уитмэна так взволновало Эмерсона и Тòро. Они почувствовали в нем единоверца. Им пока-

залось, что откуда-то извне, со стороны, к ним явился новый человек, который самостоятельно, интуитивным путем дошел до той же спасительной истины, до которой дошли они после долгих споров и чтения немецких философов. Значит, эта истина универсальна, если простой наборщик, никогда ни о каком трансцендентализме не слыхавший, обрел ее в своем бесхитростном сердце!

Но нет никакого сомнения, что идеи трансценденталистов были хорошо известны Уитмэну. Трансценденталисты издавали журнал „Dial" (Циферблат), читали публичные лекции и, вообще, всячески пропагандировали свои взгляды. Тот же Эмерсон переезжал из города в город, выступая в качестве лектора на всевозможных эстрадах. Трудно предположить, чтобы Уитмэн хотя бы отдаленно не познакомился с этим учением. Родина трансцендентализма, Бостон, недалеко от Нью-Йорка. Если посмотреть на карту, становится ясно, что Уитмэн, Эмерсон, То́ро — вышли из одной и той же почвы. Вот Конкорд, где жил Эмерсон, вот, в двух шагах, Вальден, где сближался с природой То́ро, вот Долгий Остров, где создавал свои песни Уот. Всё это по соседству, рядом. Главный смысл трансцендентализма — бунт против стеснительной догматики кальвинистской и унитарианской церкви, особождение Новой Англии от тех оков, которые налагало на нее всемертвящее, фанатическое пуританство. Борьба с пуританством—такова была задача той эпохи. Уитмэн, выступая со своими гимнами плоти, вполне отвечалдуху времени.

Но он пошел дальше трансценденталистов. Его „Адамовы дети", как мы видели, вызывали негодование Эмерсона. Эмерсон не понимал, как можно, воспевая природу, быть в то же время певцом тротуаров, машин и уличных женщин. Уитмэн, как певец науки, певец города, певец грядущей демократии — совершенно чужд Эмерсону. Здесь он вполне самобытен. Трансценденталисты, живущие в своих захолустьях, уходящие от культуры в леса и на фермы, в данном случае были враждебны ему. Тут у него был другой великий учитель: Нью-Йорк.

К. Чуковский

ЛИСТЬЯ ТРАВЫ

Песнь о смерти

Ты, милая, ласкающая смерть,
Струясь вокруг мира, светло ты приходишь, приходишь,
Днем и ночью, к каждому, ко всем!
Рано или поздно ты, нежная смерть!

Слава бездонной вселенной
За жизнь, за радость, за вещи и любопытные знания,
За любовь, за сладкую любовь! Но слава! слава!
слава!
Твоим сжимающим, холодным и хватким рукам, о смерть!

Ты темная мать! Ты всегда недалёко скользишь неслышною поступью!
Пел ли тебе кто-нибудь приветственную радостную песнь?
Эту песнь пою тебе я, я славлю тебя выше всех,
Чтобы ты, когда наступит мой час, шла ко мне неспотыкающимся шагом!

Могучая спасительница, ближе!
Всех, кого ты унесла, я пою, я радостно пою мертвецов,
Утонувших в любовном твоем океане,
Омытых в водах твоего блаженства, о смерть!

От меня тебе лихие серенады!
Пусть танцами отпразднуют тебя, пусть нарядятся, пируют,
Тебе подобают широкие дали, высокое небо,
И жизнь, и поля, и громадная задумчивая ночь.

Тихая ночь под обильными звездами,
Берег океана и шепчущая, хриплая волна, голос которой я знаю,
И душа, обращенная к тебе, о широкая, облеченная покрывалами смерть,
И тело, льнущее благодарно к тебе.

Над вершинами деревьев я возношу мою песнь к тебе.
Над волнами, встающими и падающими, над мириадами прерий и широких полей,
Над городами, набитыми людом, над многолюдными дорогами и верфями,
Я шлю тебе веселую песнь, радуйся, радуйся, о смерть

(Из поэмы „Когда сирень расцвела у порога").

Вы, преступники, приведенные в суд

Вы, преступники, приведенные в суд,
Вы, острожники, в тюрьме за решеткой,
Вы, осужденные убийцы, в цепях и железных ручных кандалах,
Кто же я, что я не за решеткой?
Почему не судят меня?
Я такой же окаянный и дьявольский,
Отчего же руки мои не в оковах, ноги мои не в железах?

Вы, проститутки, пестро-наряженные, по тротуарам гуляющие,
Или бесстыдствующие в кельях своих,
Кто же я, что назову вас бесстыднее меня?
Я виновен! я сам сознаюсь!
(Не славословьте меня, почитатели—не пойте мне льстивых похвал,
Похвалы меня раз'яряют до судорог,
Я вижу, чего вы не видите—я знаю, чего вы не знаете).

Внутри, за этими ребрами, я, загрязненный, задохшийся,
Под этим притворно-бесстрастным лицом клокочут адские волны.

Я похотливый, порочный,
Я сопутник злодеев, я к ним сопричислен,
Я сам в этом сонме проституток и каторжников,
Отныне не буду отрекаться от них, ибо как отрекусь от себя? [1])

(Из цикла „Осенние Ручьи").

Тебе

Первый встречный, если ты, проходя, вдруг захочешь со мною завести разговор, почему бы тебе не начать разговора со мною?
Почему бы и мне не начать разговора с тобой?

(Из цикла „Начертания").

Изумление ребенка

Мальчишкою малым, бывало, замолкну и в изумлении слушаю,
Как в воскресных речах у священника Бог выходит всегда супостатом,
Противоборцем какой-нибудь твари.

(Из цикла „У дороги").

Тому, кто скоро умрет

Я удаляю окружающих тебя, ибо я принес тебе весть,
Ты скоро умрешь. Пусть другие говорят, что хотят, я не умею лукавить,
Я точен и безжалостен, но я люблю тебя; тебе спасения нет.

---

[1]) Эти стихи являются воплощением известной формулы Достоевского: „Воистину всякий пред всеми за всех и за все виноват". Спенсер высказал эту же мысль такими словами: „Никто не может называться свободным, пока не свободны все. Никто не может быть вполне беспорочным, пока есть хоть один порочный. Никто не может быть совершенно счастлив, пока не будут счастливы все".

Нежно я кладу тебе на плечо мою правую руку,
Я не говорю ничего, я молча приникаю к тебе головою,
Я сижу с тобою рядом, спокойный и преданный,
Я не сиделка, не отец, не сосед, но я больше для тебя, чем они,
Я отрешаю тебя от всего, что в тебе есть тленного и ложного, оставляю лишь вечно-духовное,
Ты сам никогда не умрешь,
Труп, который останется после тебя, это не ты, а навоз.

Нечаянно засияло солнце, где и не ждали его,
Тебя охватывают сильные мысли, и доверчивой ты улыбаешься.
Ты позабыл, что ты болен, и я позабыл, что ты болен,
Ты не замечаешь лекарств, тебя не волнуют рыдания, ты знаешь, что я—близ тебя,
Я увожу от тебя посторонних, нечего им рыдать над тобою,
Я не рыдаю над тобою, я поздравляю тебя.

(Из цикла „Шопоты Смерти Небесной").

Городская мертвецкая

У городской мертвецкой, у входа,
Праздно бродя, пробираясь подальше от шума,
Я, любопытствуя, замедлил шаги.
Вижу: бедный, отверженный труп, проститутка,
Сюда принесли ее тело,
Оно лежит на мокром кирпичном полу, никто не пришел за ним,
Святыня, женщина, женское тело, я вижу тело, гляжу на него на одно, ничего другого не вижу,
Оцепенелая тишина не смущает меня, ни вода, что каплет из крана,
Ни трупный смрад, —
Но этот дом,—дивный дом, изящный, прекрасный дом —
Развалившийся,

Этот бессмертный дом, превышающий все наши здания,
Наш Капитолий, с белым куполом, с гордой статуей
наверху [1]); и старые храмы с колокольнями, воздетыми кверху, —
Этот прекрасный и страшный развалина-дом,
Обитель души, сам — душа,
Дом, избегаемый всеми,
Прими же дыхание губ задрожавших моих
И эту слезу одинокую,
Как поминки от меня, уходящего,
Ты, сокрушенный, разрушенный дом, дом греха и безумия,
Ты, мертвецкая страсти,
Дом жизни, недавно смеющийся, шумный,
Но и тогда уже мертвый,
Звеневший и дивно украшенный дом,
Но мертвый, но мертвый, мертвый.

(Из цикла „Осенние Ручьи").

Любовные игры орлов

Иду над рекою по дороге (моя утренняя прогулка, мой отдых);
Вдруг задавленный крик наверху,
Любовная ласка орлов,
Слияние стремительных тел в высоте,
Сцепленные сжатые когти,
Кружение, безумие, бешенство, вихрь живого вверху колеса,
Бьющих четыре крыла, два клюва,
Вертящейся массы комок,
Кувыркание, бросание, увертки, прямое падение вниз,
Над рекою повисли, двое — одно, в оцепенении истомы,
В воздухе томно недвижны,

---

[1]) Капитолий — здание в городе Вашингтоне; там происходят заседания конгресса и верховного суда. Оно украшено высоким железным куполом. На куполе статуя свободы, воздвигнутая в 1863 году скульптором Томасом Крофордом.

И вот, расстаются, и когти ослабли, и в небо вздымаются
вкось, на медленных мощных крылах,
Он своим и она своим разделенным путем.

(Из цикла „У дороги").

Деревенская картина

За широкими воротами мирной риги деревенской
Озаренная поляна со скотом и лошадьми,
И туман, и ширь, и дальний уходящий горизонт.

(Из цикла „У дороги").

Песня о большой дороге

(Фрагмент)

Пешком, с легким сердцем, выхожу на большую дорогу,
Здоровый, свободный, — весь мир предо мною!
Серая длинная тропа ведет меня, куда я хочу.

С этой минуты мне не надо счастья, я сам — свое
счастье,
С этой минуты я ни о чем не хнычу, ничего не хочу,
Жалобы, вопросы и книги остались дома,
Сильный и радостный я шагаю по дороге вперед.

Земля, разве этого мало?
Мне не нужно, чтобы звезды спустились ниже,
Я знаю, они хороши и там, где сейчас...

Вот глубокий урок—всё принять, никого не отвергнуть,
никому не оказать предпочтенья,
Негр, преступник, неграмотный, больной — всем открыта
и доступна она;
Роды, кто-то бежит за доктором, нищая ковыляет, шатается пьяный, рабочие идут гурьбою и смеются,
мебель везут на дачу,

Расфуфыренный франт, погребальные дроги, влюбленные, убежавшие из дому,
Все проходят, и я прохожу, и все проходит, и никто никому не помеха,
Ни одного нелюбимого, ни одного обойденного, все они дороги мне.

*

Я думаю, что геройские подвиги все рождались на вольном ветру,
И все вольные песни — на воздухе,
Я думаю, что я мог бы сейчас встать и творить чудеса,
Я думаю, что кого я ни встречу сейчас, тот мне с первого взгляда полюбится
И полюбит меня,
Я думаю, что кого ни увижу сейчас, тот должен быть счастлив.

*

Большими глотками я глотаю просторы и дали!
Запад и восток—мои, север и юг—мои!

Я больше, чем я думал,—я лучше, чем я думал,
Я и не знал, до чего я хорош,

Я развею себя между всеми, кого ни встречу,
Я подарю каждому новую радость и новую силу,
И кто отвергнет меня, не опечалит меня,
А кто примет меня, будет благословен и блажен.

*

Если бы тысяча прекрасных мужей предстали сейчас предо мною, это не удивило бы меня,
Если бы тысяча красивейших женщин явились сейчас предо мною, это не изумило бы меня.

Теперь я постиг, как создать самых лучших людей:
Пусть вырастают на вольном ветру, спят и едят с землею.

Здесь испытание мудрости,
Здесь я проверю сейчас все религии и философии,
Может быть, они хороши в духоте академий, но никуда не годятся под широкими тучами, пред зелеными далями, у бегущих ручьев.

Питательно только зерно, только ядро всех вещей,
Кто же совлечет их шелуху, кто же для тебя и для меня счистит с них скорлупу?

*

Почему многие, приближаясь ко мне, зажигают в крови моей солнце?
Почему, когда они покидают меня, флаги моей радости никнут?
Почему под иными деревьями меня опьяняют всегда широкие и мелодичные мысли?
(Я думаю, и лето, и зиму они зреют на этих деревьях и падают на меня, как плоды).
Откуда благоволение ко мне проходящих мужчин и женщин?
Откуда мое благоволение к ним?

*

Allons! кто бы ты ни был, выходи и пойдем вдвоем,
Со мною ты не утомишься в дороге.

Сначала дорога неласкова, сначала молчалива и нерадушна земля, непостижна и неприветна природа.
Но иди, не унывая, иди вперед, и ты узришь божеское, сокровенное,
Не сказать никакими словами, какую великую ты узришь красоту.

Allons! Вперед! Не мешкая!
Пусть эта гавань защищает от бури,
Пусть эти люди гостеприимны, а это жилище уютно,
Нам нельзя здесь бросить якорь, дальше, вперед!

*

Мы помчимся по безумному, по бездорожному морю!
С нами земля и стихия,
С нами здоровье, задор, любопытство, гордость, восторг!
Но не приходите ко мне, кто уже расточил свое лучшее,
Сифилитиков и пьяниц мне не надо!

*

Слушай! я скажу тебе правду,
Я не предлагаю тебе старых приятных даров,
Я предлагаю тебе новые тяжкие,
Идем, но предупреждаю тебя, что я потребую многого,
Ты не должен собирать и громоздить то, что называется богатством,
Все, что наживешь и накопишь, разбрасывай, куда ни пойдешь;
Войдя в какой-нибудь город, не оставайся в нем дольше, чем нужно, и, верный зовущему голосу, поскорее уходи прочь,
Те, кого ты оставишь там, будут издеваться над тобою, язвить тебя злыми насмешками,
Любящие руки попытаются тебя удержать, но да будут твои поцелуи прощальными,
И да не станут эти руки оковами.

*

Allons! К бесконечному и безначальному!..
Мы возьмем с собою в дорогу все здания и улицы, куда бы мы ни пошли,
Что же такое вселенная, как не дорога, — множество дорог для блуждающих душ,—

Они шествуют вперед и вперед,
Любящие, больные и отверженные,
Величавые, могучие, безумные, слабые, гордые, отчаянные.
Я не знаю, куда они идут, но знаю, что к великому, к лучшему.

*

Выходите же, мужчины и женщины!
Нечего корпеть в своих домах, хотя бы вы сами построили их,

Прочь из заточения и мрака! Выходите прочь из тайника!
Никакие мольбы не помогут, я знаю каждое укромное место,

Вы не заслонитесь от меня ни одеждой, ни танцами, ни обедом, ни смехом.
Я вижу сквозь все покровы ваши скрытые скорби и ужасы.

Вы не скажете ни жене, ни подруге, ни мужу
Об этом страшном своем двойнике, который бродит бессловесный по улицам
И в гостиных прикрывается личиной учтивости,
И всюду, в вагонах, в каютах, в общественных собраниях, изящно одетый, смеется,
А в груди у него смерть, а в черепе у него преисподняя—
Там, под белой манишкой, под лентами и бутоньерками,
Как он говорлив, говорит обо всем, но ни звука не говорит о себе.

*

Allons! Торопись! Пусть бумага останется у тебя на столе неисписанная
И на полке — непрочитанная книга,

Пусть останется твой инструмент на заводе, и ты не
заработаешь денег,
Пусть училище останется пустое! Не слушай призывов
учителя!

Камерадо, я даю тебе руку, я даю тебе свою любовь,
я даю тебе всю свою душу, ничего не проповедуя,
не требуя,
Пойдешь ли ты со мною в дорогу, неразлучный до могилы сопутник?

Тебе

Кто бы ты ни был, я боюсь, что ты идешь по пути сновидений,
Я боюсь, что то, в чем ты так крепко уверен, уйдет у
тебя из-под ног и под руками растает,
Даже и теперь обличье твое, и твой дом, и слова, и
дела, и тревоги, и твое веселье и безумство,
Все ниспадает с тебя, и твое настоящее тело, и твоя
душа настоящая—только они предо мною,
Ты предо мною стоишь в стороне от работы твоей и
заботы, от купли-продажи, от фермы твоей и от
лавки, от того, что ты ешь, что ты пьешь, как
ты скорбишь, умираешь.

Кто бы ты ни был, я руку тебе на плечо возлагаю, ты
будешь моей поэмой!
Я близко шепчу тебе на ухо:
Много любил я мужчин и женщин, но никого не любил,
как тебя.

О, долго я мешкал вдали от тебя, долго я был немой,
Мне бы давно прибежать к тебе,
Мне бы твердить о тебе без конца, мне бы тебя одного
воспевать.
О, я покину всех, я пойду и создам гимн о тебе,
Никто ведь не понял тебя, я один понимаю тебя,

Никто не был справедлив к тебе, ты сам справедлив к себе не был,
Все находили из'яны в тебе, один только я не вижу никаких из'янов в тебе,
Один только я не ставлю над тобою ни владыки, ни господина, ни Бога:
Над тобою лишь тот, кто таится в тебе самом.
Иконописцы писали кишащие толпы людей, и меж них одного посередине,
И голова одного посередине была в золотом ореоле,—
Я же пишу икону, на которой мириады голов, и все до одной в золотых ореолах,
От руки моей льется сияние, от мужских и от женских голов вечно исходит оно.

О, я мог бы пропеть о тебе такие величавые гимны, я мог бы прославить тебя!
Как ты велик, ты не знаешь и сам, проспал ты себя самого,
Твои веки как будто опущены были во всю твою жизнь,
И все, что ты делал, к тебе обернулось, словно бы кто над тобой посмеялся.
(Богатства твои и молитвы, и знания, если не в чью-то насмешку они обернулись, то во что обернулись они?)

Но посмешище это — не ты.
Там, под спудом, внизу, затаился ты, настоящий,
И я вижу тебя, где никто не увидит тебя.
Ни молчание твое, ни конторка, ни ночь, ни наглый твой вид, ни рутина твоей жизни не скроют тебя от меня;
Лицо твое бритое и желтое, беспокойные зрачки—пусть сбивают с толку других, но меня не собьют.
Твой пошлый наряд, безобразную позу и пьянство, и похоть, и раннюю смерть, — все я отбрасываю прочь.

Ни у кого нет таких дарований, которых бы не было и у тебя,
Ни такой красоты, ни такой доброты, какие теперь у тебя,
Ни дерзания такого, ни терпения такого, какие есть у тебя,
И какие наслаждения ждут других, такие ждут и тебя.

Я никому ничего не дам, если столько же не дам и тебе,
Никого, даже Бога, я песней моей не прославлю, если я не прославлю тебя.

Кто бы ты ни был! иди напролом и требуй!
Эта пышность Востока и Запада — безделица рядом с тобою,
Эти равнины безмерные и эти реки безбрежные — безмерен, безбрежен и ты, как они,
Эти бури, вулканы, стихии, движения Природы, иллюзии смерти, — ты тот, кто над ними владыка,
Ты по праву владыка над скорбью, над страстью, над стихией, над смертью!

С ног твоих путы спадают, и ты видишь: все превосходно!

(Из цикла „Перелетные птицы").

Европа

в 72 и 73 году Этих Штатов [1])

Из своего трухлявого и душного логова, логова рабов,
Она молнией прянула и сама на себя удивляется,
Ногами она топчет золу и лохмотья,

---

[1]) „Этими Штатами" Уот Уитмэн называл Соединенные Штаты Америки.

А руками сжимает глотки королей.
О, надежда и вера!
О, страдальческий конец патриотов-изгнанников,
испускающих дух на чужбине!
О, сколько больных сердец!
Вернитесь сегодня на родину, да будет вам новая жизнь.

А вы, получавшие золото за то, что чернили Народ,
Узнайте, лжецы, что за все ваши пытки, за судороги,
За многообразный придворный грабеж, за выматывание
денег у бедных,
За то, что лгали, обещая, королевские уста и, обеты
нарушая, хохотали, —
Народ отмщает прощением, ему не нужны ваши головы,
Ему омерзительна свирепая лютость царей!

Но нежная милость взрастила жестокую гибель, и
запуганные короли пришли назад,
Идут величаво и гордо, у каждого свита: поп, вымога-
тель, палач,
Тюремщик, законник, лорд, солдат и шпион.

А сзади всех — смотри! — какой-то призрак ползет и
крадется, мглистый, как ночь,
Весь в багряницу закутан, лоб, голова и тело обмотаны
кроваво-красными складками,
Не видно ни глаз, ни лица,
Но из-под этих алых одежд, приподнятых невидимой
рукою,
Один единственный скрюченный палец, указующий
ввысь, в небеса,
Появляется, как головка змеи.

А в свежих могилах лежат трупы окровавленных
юношей,
И натянуты веревки у виселиц, и носятся пули владык,
И деспоты громко смеются, —
Но все это даст плоды, и плоды эти будут хорошие.

Эти трупы юношей,
Эти мученики, висящие в петле, эти пронзенные серою
сталью сердца,
Недвижны они и холодны, но все же они вечно живут,
и их невозможно убить.

Они живут, о короли, в других таких же юных,
Они в оставшихся братьях живут, готовых снова
восстать против вас,
Они были очищены смертью, умудрены и возвеличены ею.

Над каждым убиенным за свободу, из каждой могилы
возникает семя свободы, а из этого семени—новое,
Далеко разнесут его ветры для новых и новых посевов,
Его взлелеют дожди и снега.

И каждая душа, покинувшая тело, убитое тираном-
палачом,
Незримая парит над землею, шепчет, зовет, стережет.

Свобода! пусть отчаются другие—я вовек не отчаюсь в
тебе.

Что? этот дом заколочен? Хозяин куда-то исчез?
Ничего, он скоро вернется, ждите его.
Приготовьтесь для встречи, — вот уже идут его вестники.

(Из цикла „У дороги").

Бей, бей, барабан

Бей! бей! барабан!—труби! труба! труби!
В окна,—в двери,—ворвитесь, как буйная рать!
В торжественную церковь! — долой молящихся!
В школу! — долой школяров!
Прочь от невесты, жених,—не время тебе блаженство-
вать с нею,
Не время мирному пахарю мирно пахать и косить!
Так бешено гремишь ты, барабан, так яростно трубишь
ты, труба!

Бей! бей! барабан!—труби! труба! труби!
Гряньте над грохотом города, над громыханием колес!
Что? для спящих готовы постели? Кто же заснет в эту
ночь?
Не торговать, торгаши! Барышники, сегодня не
барышничать!
Смеют ли говоруны говорить? Смеет ли петь певец?
Что? адвокат по прежнему мямлит свою речь на суде?
Громче же, барабанная дробь! Кричи, надрывайся, труба!

Бей! бей! барабан!—труби! труба! труби!
Что за дело до молящих и плачущих, до перепуганных
стариков!
Заглушите младенческий крик и материнские вопли!
Пусть даже мертвецы задрожат, непогребенные,
ждущие гроба!
Вопите, кричите, трубы! Греми, роковой барабан!

(Из цикла „Барабанный бой“).

Ты, мальчишка из прерий

Ты, загорелый мальчишка из прерий,
И до тебя приходило в наш лагерь много желанного,
жданного,
Хвалы и дары приходили, и сытая пища, пока, наконец,
с новобранцами
Не прибыл и ты, бессловесный, в руках у тебя ничего,
но мы глянули один на другого.
И больше, чем всеми дарами вселенной, ты одарил
меня.

(Из цикла „Барабанный бой“).

Годы современные

Годы современности! годы несвершенного!
Ваш горизонт поднимается, я вижу, что он расступается
для более царственных драм,

Я вижу, что не только Америка, не только народ
Свободы, но и другие народы готовятся к участию в этом спектакле,
На сцену с грохотом входят новые лица, старые сходят со сцены,
Являются новые союзы народов, всеобщая солидарность племен,
Я вижу, как неудержимо, могуче вступает это новое полчище на мировые подмостки,
(А старые рати, старые войны сыграли ли они свои роли?
Сыграны ли все акты той пьесы, которую им надлежало сыграть?).
Я вижу Свободу, во всеоружии, победоносную, гордую,
И с нею, плечо к плечу, по правую и по левую руку, шествуют Мир и Закон,
Великолепное трио, вышедшее в бой против мысли о касте;
К каким историческим развязкам мы близимся с такой быстротой?
Я вижу миллионы людей, марширующих вперед и назад,
Стерты рубежи между царствами, проведенные в Европе царями,
Ныне возведет сам народ свои рубежи на земле (все другие долой),
Никогда еще не был простой человек более подобен Богу,
О! как он торопит, толкает, движет массы вперед и вперед!
Его дерзкая нога на земле и на море, везде,
В Тихом Океане он создает поселения, архипелаги он колонизует —
Он спаял, он связал воедино все страны, всю географию мира пароходом, телеграфом, газетой, множеством военных орудий, фабриками, всюду разбросанными;
Что это за шопот, о страны, бежит между вами, проносится в пучине морской?
Все народы беседу ведут? Не создается ли у шара земного единое сердце?

Человечество стало единое тело, сплотилось в единый
народ, тираны дрожат, их короны, как призраки,
тают,
Кто предскажет, что завтра случится, дни и ночи
исполнены знаменьями,
О, вещие, пророческие годы!
Деянья, еще не содеянные, вещи, еще не созданные,
нагрянули на меня, я их чувствую в экстатическом
лихорадочном сне,
Они нахлынули на меня, они давят меня, они насквозь
проницают меня,
И вот у меня перед взором нет ни Америки, ни Евро́пы,
Все прошлое, завершенное отступает куда то во мрак,
Надвигается огромное будущее, идет и идет на меня.

(Из „Песен Расставания“).

Когда я читаю книгу

Когда я читаю книгу, где описана знаменитая жизнь,
Я говорю: разве в этом была вся жизнь человеческая?
Так, если я умру, и мою вы опишете жизнь?
(Будто кто-нибудь знает, в чем моя жизнь была?
Нет, я и сам ничего не знаю о моей настоящей жизни:
Несколько темных следов, разбросанные знаки, намеки,
Которые я сам для себя пытаюсь здесь начертать).

(Из цикла „Начертания“).

Одной певице

Прими этот дар,
Я его берег для героя, для вождя, для трибуна,
Для того, кто послужит великому делу,
Старому делу свободы и преуспеяния народов,
Кто с вызовом глянет в глаза притеснителям,
Кто подымет мятеж,
Но я вижу теперь, что мой долгохранимый подарок,
Как им, принадлежит и тебе.

(Из цикла „Начертания“).

Из „Песни о выставке“

(Фрагмент)

2

Муза, беги из Эллады, покинь Ионию,
Сказки о Трое, об Ахилловом гневе забудь,
О скитаниях Одиссея, Энея.
К Парнасу прибей табличку:
„За от'ездом сдается в наем“.
И такое же повесь об'явление
На всех итальянских музеях, на замках испанских,
французских, германских,
В Сионе, на яффских вратах, и на горе Мориа,
Ибо новое царство, — пошире, вольнее! — ждет, как
царицу, тебя!

3

Наши призывы услышаны!
Смотрите: она идет!
Я слышу шелест ее одежды, я вдыхаю аромат ее дыхания.
О, царица цариц! О, смею ли верить,
Что изваяния богов и древние храмы не властны тебя
удержать,
И Виргилий, и Данте, и мириады преданий, поэм, —
Неужели ты кинула все и прибежала сюда?

Да, ей уже не о чем петь — там над иссякшим
Кастальским ключем,
Ибо нем египетский Сфинкс, у него перебита губа,
Каллиопа навеки замолкла, и Мельпомена, и Талия
мертвы,
Иерусалим — горсть золы, развеянной всеми ветрами,
Крестоносцы, полночные призраки, растаяли вместе с
рассветом,
Где людоед Пальмерин? Где башни и замки, отраженные
водами Уска?

Где рыцари Круглого Стола, где Артур, Мерлин,
Ланселот?
Сгинули! сникли! пропали! как испарение исчезли [1]).
Скончался! Скончался для нас навсегда этот мир,
когда-то могучий,
Ныне опустелый — отлетела душа! — призрачный,
опустелый мир.
Шелками расшитый, ослепительно-яркий, но чужой,
королевский, поповский!
В склепе фамильном схоронен,
Корона его и доспехи с ним заколочены в гроб,
И герб его — алая страница Шекспира,
И панихида над ним — сладко тоскующий стих Теннисона.

К нам поспешает беглянка,
Я вижу ее, если вы и не видите.
К нам торопится на rendez-vous, пробивает дорогу
локтями, шагает в толпе напролом,
Жужжание наших машин и резь паровозных свистков
ее не страшат,
Ее не смущают ни стоки дренажа, ни циферблат
газометра,
Приветно смеется и рада остаться у нас!
Она здесь! на кухне средь посуды!

4

Но, кажется, я позабыл приличье!
Позвольте же представить незнакомку! (Я ведь только
для того и живу, только для того и пою).

---

[1]) Это стихотворение мы воспроизвели в его первой редакции, так как последующие кажутся нам более слабыми. Против этих стихов энергично протествовал юноша Оскар Уайльд. В его лекции „Ренессанс английского искусства“ читаем: „Тщетно призывается муза поэзии—хотя бы и трубным гласом Уота Уитмэна—эмигрировать из Ионии и Греции и прибить к Парнасу табличку: „за от'ездом сдается в наем“. Зов Каллиопы еще не умолк, азиатский эпос не вымер; Сфинкс не лишился языка, и не высох Кастальский источник. Ибо искусство есть сущность жизни, и ему неведома смерть. Искусство — абсолютная реальность, и ему нет дела до фактов“ (Сбор. соч. Оскара Уайльда, изд. „Нивы“, т. IV, 134).

Колумбия [1])! Во имя свободы, приветствуй бессмертную!
Подайте друг другу руки, — и будьте отныне как сестры.

Ты же, о, Муза, не бойся! новые дни осенили тебя,
Вокруг тебя какие-то новые, какие-то странные люди,
небывалая порода людей
Но сердца все те же, и страсти те же,
Люди внутри и снаружи все те же,
Не лучше, не хуже, — все те же лица людей,
И та же любовь, и красота и обычаи те же.

7

Прочь эти надоевшие басни!
Прочь эти вымыслы, эти романсы, драмы дворов
чужестранных,
Эти любовные стансы, облитые патокой рифмы, эти
интриги и страсти бездельников,
Годные лишь для балов, где танцоры кружатся всю
ночь, —
Пустая забава, нездоровый досуг для немногих,
С духами, вином и в тепле, под сияющими канделябрами.
Муза! я принесу тебе наше здесь и наше сегодня,
Пар, керосин и газ, великие железные пути!
Трофеи нынешних дней: нежный кабель Атлантика,
И Суэцкий канал, и Готардский тоннель, и
Бруклинский мост [2]).
Всю землю тебе принесу, как клубок, обмотанную
рельсами,
Наш вертящийся шар принесу [3]).

---

[1]) Так Уитмэн называл Америку.

[2]) Мост длиною в $1^1/_2$ версты, соединяющий Нью-Йорк с городом Бруклином. Строился одиннадцать лет: с 1872 по 1883 г.

[3]) Замечательно, что в том же 1855 году, когда вышла книжка Уитмэна, подобные идеи развивал во Франции поэт Максим Дюкан (Maxime du Camp) в своих „Современных Песнопениях". В старом Некрасовском „Современнике" (1855 г., т. III) мы нашли о нем такие строки: „Поэт уверяет нас, что Диана давно перестала ожидать в роще Эндимиона, что Аполлон умер уже от дряхлости на своем

ПЕСНЬ О САМОМ СЕБЕ

1

Я славлю себя, я воспеваю себя,
И что я принимаю, то примете и вы,
Ибо каждый атом, принадлежащий мне, также принадлежит и вам.

Я брожу и призываю мою душу,
Я слоняюсь бесцельно, праздный, и наклонясь, рассматриваю былинку летней травы.

Мой язык, каждый атом моей крови созданы из этого воздуха, из этой земли,
Рожденный здесь от родителей. рожденных здесь от родителей, тоже рожденных здесь,
Я, тридцати семи лет от роду, в полном здоровьи, начинаю эту песню,
Надеясь не кончить до смерти.

Догматы и школы, отойдите на минуту назад,
Повремените немного, не бойтесь мы не забудем вас.
Я — гавань для доброго и злого, я позволяю природе в любую минуту всегда
Говорить невозбранно с первобытной энергией.

Парнасе, что Пегас устарел... Что же воспевает он сам? Железные дороги, локомотивы, пар, газ, электричество, хлороформ и т. д. Все это прекрасно, даже, может быть, очень умно и остроумно, и стихотворения Дюкана, по крайней мере—предметы его песнопений, действительно, современны, но мы сомневаемся, чтобы во всем этом было много поэзии". Интересующиеся Дюканом могут прочесть о нем в книжке Я. Тугендхольда „Город во французской поэзии". Там, между прочим, приводится такой отрывок из знаменитого манифеста Дюкана: „Открывают пар, а мы воспеваем Венеру! Открывают электричество, а мы воспеваем Вакха! Это абсурд! Сколько раз описывали жерло вулкана, отчего же нам не воспеть горн завода в Creuzot!" Максим Дюкан (1822—1894), один из ближайших друзей Флобера. был историком, поэтом, критиком, путешественником и журналистом. Тургенев изобразил его в очерке „Казнь Тропмана".

2

Комнаты и дома пропитаны духами, полки загромождены духами,
Я и сам вдыхаю их запах, я знаю его и люблю,
Но от духов кружится голова, а этого я не хочу.

Воздух не духи, он не сделан на фабрике, он без запаха,
Я глотал бы его вечно, я влюблен в него,
Я пойду на лесистый берег, разденусь и стану голым,
Я до безумия рад, что воздух прикасается ко мне.

Пар моего дыхания,
Эхо, струйки воды, журчащие шопоты, любовный корень, шелковинка, дерево с вилообразными сучьями, лоза виноградная,
Мое вдыхание и выдыхание, биение моего сердца,
Движение крови и воздуха у меня в легких,
Запах свежей листвы и сухой листвы, запах морского берега и темных морских утесов, запах сена в амбаре,
Мой голос, источающий слова, которые я бросаю по течению ветра,
Легкие поцелуи, объятия, прикосновения ласковых рук,
Игра света и тени на деревьях, когда колышатся гибкие ветви,
Радость — оттого, что я один, или оттого, что я в уличной сутолоке, или оттого, что я брожу по холмам, по полям,
Ощущение здоровья, трели и рулады в полуденный час, моя песня, которую я пою, встав с постели и увидев солнце.

Ты думал, что тысяча акров — это много? Ты думал, что земля это много?
Ты так долго читал по складам, чтобы научиться читать?
Ты лелеял гордые замыслы доискаться до смысла поэм?

Побудь этот день и эту ночь со мною, и у тебя будет источник всех поэм,
Все блага земли и солнца станут твоими (миллионы солнц в запасе у нас!)
Ты уже не будешь брать вещи из вторых или из третьих рук,
Ты перестанешь смотреть глазами давно умерших или жить привиденьями книг,
И моими глазами ты не станешь смотреть, ты не возьмешь у меня ничего,
Ты выслушаешь всех и профильтруешь все чрез себя.

3 (фрагмент)

Я слышал, о чем говорят празднословы, они говорят о начале и конце,
Я же не говорю ни о начале, ни о конце.

Никогда еще не было больше начал, чем теперь.
Движение, движение, движение,
Вечно плодородное движение мира!

. . . .

Ясна и сладка моя душа, ясно и сладко все то, что не моя душа.

Кто лишен одного, тот лишен и другого, невидимое утверждается видимым,
Покуда оно тоже не станет невидимым и не получит в свой черед подтверждений.

Гоняясь за лучшим, отделяя лучшее от худшего, век досаждает веку,
Я же знаю превосходную согласованность и гармонию всего.
Пока они спорят, я молчу, иду купаться и восхищаюсь собою.

Я приветствую каждый орган, каждую частицу меня и каждого человека, простого и чистого.

Нет ни одного вершка постыдного, низменного, ни одной
доли вершка, ни одна доля вершка не будет менее
мила чем другая.

. . . .

4

Странники и вопрошатели окружают меня,
Мои знакомые, влияние на меня моей юности, или моей
комнаты, или города, в котором я живу, или нации,
Последние события, открытия, изобретения,
То общество, в котором я жил, старые и новые писатели,
Мой обед, мое платье, мои близкие, внешность,
комплименты, заслуги,
Подлинное или воображаемое равнодушие ко мне какого-
нибудь мужчины или женщины, которых я люблю,
Болезнь кого-нибудь из близких, или моя болезнь,
проступки, или потеря денег, или недостаток денег,
или уныние, или восторг,
Битвы, ужасы братоубийственной войны, горячка
недостоверных известий, прерывистых событий,
Все это приходит ко мне днем и ночью и снова уходит
от меня,
Но все это не Я.

Вдали от этой подневольной суеты
Стоит то, что есть мое Я,
Стоит веселое, добродушное, участливое, праздное,
единое,
Стоит и смотрит вниз, стоит прямо или опирается
рукою на неосязаемую опору,
Смотрит, наклонив голову на бок, с любопытством —
что будет дальше?
Оно и участвует в игре и не участвует, следит за нею
и удивляется ей.

Я смотрю назад на мои минувшие дни,
Когда я до поту спорил с разными лингвистами и
спорщиками, пробираясь сквозь туман,
У меня нет ни насмешек, ни доводов, я просто смотрю
и жду.

5

Я верю в тебя, моя душа, но другое мое Я не должно
унижаться перед тобою,
И ты не должна унижаться перед ним.

Поброди со мной по траве, выйми пробку у себя из
горла,
Ни слов, ни музыки, ни рифм, ни лекций мне не надо,
даже самых лучших,
Спой мне свою колыбельную, которую я люблю, убаюкай
меня тихим рокотом твоего извилистого голоса.

Я помню, как однажды мы лежали в такое прозрачное
летнее утро;
Ты положила голову поперек моих ребер и нежно
повернулась ко мне,
И приподняла рубаху у меня на груди и вонзила в мое
обнаженное сердце язык,
И дотянулась до моей бороды и дотянулась до моих
ног.

Быстро возникли и простерлись вокруг меня покой и
знание, которое выше всех рассуждений и доводов,
И я знаю, что Божья длань есть обетование для меня,
И я знаю, что Божий дух есть брат моего духа,
И что все мужчины, когда бы они ни родились, тоже
мои братья,
И женщины — мои сестры и любовницы,
И что сущность творения — любовь,
И что бесчисленны листья в полях — и твердые, и
сморщенные,
И бурые муравьи в маленьких кельях под ними,
И покрытый мхом забор, извивающийся подобно
червю,
И груды камней, и бузина, и коровьяк, и лаконоска.

6

Ребенок спросил: что такое трава? и принес мне ее
полные горсти.
Как мог я ответить ребенку? Я знаю не больше его,
что такое трава.

Может быть это флаг моего чувства, сотканный из
зеленой материи, — цвет надежды.

Или может быть это платочек от Бога,
Надушенный, нарочно брошенный нам на память в
подарок.
Где-нибудь там в углу есть и метка, имя владельца,
чтобы, увидя, мы могли сказать наверное, Чей.

Или, может быть, трава и сама ребенок, младенец
растительности.

А может быть это гиероглиф,
И может быть он означает:
„Взрастая одинаково в жарких странах и в холодных
странах,
Среди белых и среди чернокожих,
И Канука и Токагоэ [1]), и конгрессмэна [2]), и негра —
я принимаю равно, всем им даю одно".

А теперь мне кажется, что это прекрасные, нестриженные
кудри могил.

Кудрявая травка, я ласково поглажу тебя,
Может быть, ты выросла прямо из груди каких-нибудь
юношей, и, может быть, если бы я их знал, я
любил бы их;
Может быть, ты растешь из старцев или из младенцев,
только что вынутых из материнского чрева;
Может быть, ты материнское чрево.

---

[1]) То́кагоэ — городок невдалеке от Нью-Йорка; также—особая порода трюфелей.

[2]) Конгрессмэн — член парламента.

Но эта трава так темна, она не могла взрасти из
седых старушечьих голов,
Она темнее, чем бесцветные бороды старцев, также не
взросла она из бледно-розовых ртов.

Я хотел бы передать ее темную речь об умерших
юношах и девушках, а также о стариках и старухах,
и о младенцах, едва только взятых от чресел.

Что, по вашему, сталось со стариками и молодыми? И
во что обратились теперь дети и женщины там
под землей?
Они живы, и им хорошо, и малейший росток указует,
что смерти на деле нет,
А если она и есть, она ведет за собою жизнь, она не
подстерегает жизнь, чтобы ее погубить,
Она гибнет сама, лишь только появится жизнь.
Все идет вперед и вперед, без запинки,
Умереть это вовсе не то, что ты думал, но — лучше.

7

Думал ли кто-нибудь, что родиться на свет — это
счастье,
Я спешу сообщить ему или ей, что умереть это такое
же счастье, и я знаю это наверняка.

Я умираю вместе с умирающим и рождаюсь вместе с
только что обмытым новорожденным,
Я весь не вмещаюсь между башмаками и шляпой,
Я смотрю на разные предметы, ни один не похож на
другой, каждый по своему хорош.
Земля хороша, и звезды хороши, и спутники их хороши.

Я не земля и не спутник земли, я — товарищ и собрат
людей,
Таких же бессмертных и бездонных, как я,
(Они не знают, как они бессмертны, но я знаю).

Все существует для себя и своих, для меня существует
мое, мужское и женское.
Для меня те, которые были мальчишками и которые
любят женщин, —
Для меня — невеста и старая дева, для меня матери и
матери матерей.
Для меня губы, которые улыбались, глаза, проливавшие
слезы,
Для меня дети и родители детей.

Скиньте покровы! предо мною вы ни в чем не виноваты,
для меня вы не отжившие, не старые,
Я вижу сквозь тонкое сукно и сквозь грубое сукно [1]),
Я возле вас, — упорный, прилипчивый, впитывающий в
себя все, неустанный, — меня не откинешь прочь!

8

Младенец спит в колыбели,
Я поднимаю кисею, долго смотрю на него и отгоняю
тихонько мух.

Юноша и закрасневшаяся девушка юркнули в кусты на
холме,
Я внимательно наблюдаю за ними с вершины.

Самоубийца простерся в спальне на окровавленном полу—
Я изучаю, как волосы обрызганы кровью и куда упал
пистолет.

Грохот мостовой, стук фургонов, шарканье подошв,
разговоры прохожих,
Тяжеловесный омнибус, кучер с пригласительно-поднятым
пальцем, звяканье копыт по граниту,
Сани, бубенчики, шутливые крики, снежки,
Ура народным любимцам, ярость разгневанной черни,

---

[1]) В подлиннике gingham — слово, заимствованное из малайского языка: полосатая суконная или хлопчатобумажная материя.

Шуршание штор на завешенных носилках, — больного
несут в лазарет,
Схватка врагов, внезапная ругань, драка, чье-то паденье,
Толпа взбудоражена, полицейский спешит со своею
звездою, прокладает дорогу в середину толпы,
Бесстрастные камни, которые получают и возвращают
назад такое множество эхо,
Стоны пресыщенных и умирающих с голоду, упавших
от солнечного удара или в истерике.
Вопли женщин, застигнутых родами, спешащих скорее
домой, чтобы родить ребенка.
Какие слова, живущие и погребенные здесь, вечно
витают здесь, какие визги, укрощенные приличиями,
Аресты преступников, оскорбления, предложения
продажной любви, принятие ее и отвержение
презрительным выгибом губ, —
Все это я замечаю, или отголоски, отражения всего
этого, я прихожу и опять ухожу

9

Ворота амбара распахнуты настежь и ждут,
В'езжает медлительный воз только что скошенного сена,
Яркий свет переливается серо-зелеными красками,
Сено охапками складывается на осевший сеновал.
Я там, я помогаю. Я приехал на возу, растянувшись.
Я чувствовал легкие толчки на ухабах, одна нога была
у меня на другой
Я прыгаю сверху, с балки, выхватываю тимофеевку и
клевер,
И кувыркаюсь на сене, и в волоса мне набивается
солома.

10

В горы далеко, в пустыню я забрел один и стреляю,
Брожу, сам удивленный своим проворством и весельем;
К вечеру выбрал себе безопасное место для ночлега

И развожу костер и жарю свеже убитую дичь,
И засыпаю на собранных листьях, рядом со мною мой пес и винтовка.

Янки-клиппер [1]) несется на раздутых марселях, мечет искры и брызги,
Я вонзился глазами в берег, я уперся в руль или с палубы лихо кричу.

Лодочники и собиратели раковин вставали чуть свет и поджидали меня,
Я запихивал штаны в голенища, шел вместе с ними, и время проходило отлично, —
Побывали бы вы вместе с нами у котла, где варилась уха!

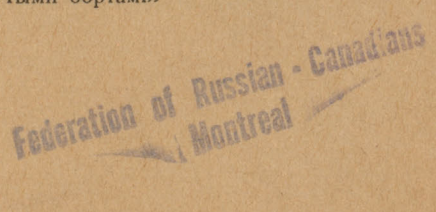
На дальнем западе я видел свадьбу охотника, невеста была краснокожая,
И ее отец вместе со своими товарищами сидел невдали, скрестив ноги, безмолвно куря, и были у них на ногах мокасины и плотные широкие одеяла висели у них с плеч.

По берегу, по песку, бродил жених-охотник, одетый в шкуры, пышнобородый, шея у него была закрыта кудрями, он за руку водил свою невесту;
У нее же ресницы были длинные и голова обнаженная, и жесткие волосы прямо свисали на её сладострастное тело и достигали до ног.

Беглый раб подбежал к моему дому, затаился во дворе,
Я услышал, как от его движений заскрипели дрова,
В полуоткрытую кухонную дверь я увидел его, истомленного,
И вышел к нему, он сидел на полене, и я ввел его в дом и успокоил его,
И воды натаскал, и наполнил лохань, пусть он вымоет вспотевшее тело, изъязвленные ноги,

---

[1]) Клиппер—быстроходное судно с крутыми бортами.



И дал ему комнату рядом с моею и дал ему грубое
чистое платье,
И помню я хорошо, как бегали у него зрачки и как
он был неуклюж.
И помню, как я наклеивал ему пластыри на исцарапанное тело и на щиколки ног,
Он жил со мною неделю, отдохнул и ушел на север.
Я сажал его за стол рядом с собою, а ружье мое было
в углу.

11

Двадцать восемь молодых мужчин купаются на берегу,
Двадцать восемь молодых мужчин, и все так дружны;
Двадцать восемь годов женской жизни, и все так одиноки.

Милый дом есть у нее на взгорье у берега,
Красивая, богато-одетая, за ставней окна она прячется.

Кто из молодых мужчин ей по сердцу больше всего?
Самый нескладный из них для нее красивее всех.

Куда же, куда вы, лэди? Ведь я вас отлично вижу,
Вы плещетесь с ними в воде, хоть притаились
недвижно у окна.

Двадцать девятой купальщицей с пляской и смехом она
направляется к берегу,
Те не видят ее, но она их видит и любит.

Бороды у молодых мужчин блестят от воды, вода
стекает с долгих волос, ручейками бежит по
телам

И также бежит по телам чья-то рука невидимка,
И дрожит, пробегая от висков к ребрам.

Молодые мужчины плывут на спине, и их белые животы
поднимаются к солнцу, и ни один не спросит, кто
так крепко прижимается к ним,

И ни один не знает, кто это так, задыхаясь, склонился
вперед, изогнулся,
И кого они окатывают брызгами.

12

Приказчик мясника снимает с себя передник, в котором
он резал скотину, —
Или точит нож о прилавок на рынке,
Я останавливаюсь и смотрю на него, мне нравится его
бойкий язык,
Мне нравится, как он плутует и как попадает впросак.

Кузнецы с волосатой закопченной грудью окружают
наковальню,
У каждого в руке гигантский молот, работа в полном
разгаре, в горне жарко пылает огонь.

Я стою на засыпанном золою пороге и смотрю, как они
движутся
Гибкие извивы их стана гармонируют с их дюжими
руками,
Вверх поднимаются молоты, вверх так медленно, вверх
так уверенно,
Они не торопятся, каждый из них ударяет туда, куда
надо.

14 (фрагмент)

Дикий гусь ведет свое стадо всю морозную ночь
напролет,
Яхонк! — кричит он в высоте, и это звучит для меня,
как призыв,
Для бездушного это — бессмыслица, но я прислушиваюсь
чутко, внимательно
И нахожу здесь смысл и возношусь в зимнее небо.

Северный олень с тонкими копытами, кошка на пороге,
цыплята, цепная собака,

Хрюкающая свинья с поросятами, которые тянут ее
сосцы,
Индюшата и сама индюшка с наполовину раскрытыми
крыльями,
В них и в себе я вижу один и тот же старый закон.

Я влюблен в растущих на воздухе,
Я влюблен в живущих средь скота,
В пахнущих океаном или лесом, в кораблестроителей,
в кормчих, в умеющих владеть топором и управлять
конем,
Я могу есть и спать с ними по целым неделям.

Что зауряднее, дешевле, ближе и доступнее всего —
это Я.
Я играю на авось, я трачу себя ради больших барышей,
Я украшаю себя, чтобы подарить себя первому, кто
захочет взять меня,
Я не прошу небеса спуститься ниже ко мне,
Я щедро расточаю любовь.

15 (фрагмент)

Чистое контральто поет в церковном хоре,
Столяр стругает доску, рубанок все громче
насвистывает свою дикую прерывистую песню,
Женатые и неженатые дети едут домой на общую
трапезу в День Благодарности [1]),
Штурман играет в кегли и сильной рукой сбивает
короля,
Старший матрос стоит в китоловной шлюпке, копье и
гарпун у него наготове,
Охотник за утками ступает осторожно и вкрадчиво,

---

[1]) Последний четверг в ноябре каждого года является в Соединенных Штатах праздничным днем, днем благодарственной молитвы. Этот день установлен в 1864 году президентом Линкольном по окончании войны за освобождение негров. Раньше праздновались другие дни. В этот день все родственники с'езжаются у старшего в роде для общей трапезы.

Дьяконов посвящают в духовный сан в алтаре, руки
скрещены у них на груди,
Девушка за прядильным станком шагает взад и вперед
под жужжание большого колеса,
Фермер выходит пройтись в Первый день и останавливается у придорожных трактиров и глядит на овес
и ячмень,
Сумасшедшего везут, наконец, в сумасшедший дом (не
спать уж ему никогда, как он спал в материнской
спальне),
Чахлый наборщик с седой головой наклонился над
кассой, во рту он шевелит табак, а глаза уставил
в бумагу.
Крепко привязано тело калеки к столу у хирурга, то,
что отрезано, страшно шлепает в ведро,
Девушка-квартеронка продается на аукционе, пьяница
дремлет у печки в кабаке,
Машинист закачал рукава, полицейский обходит участок,
привратник глядит, кто идет;
Парень едет в фургоне (я влюблен в него, хоть и не
знаю его).
Метис завязывает шнурки у своих легких сапог перед
состязанием в беге,
На западе охота на ястреба [1]) привлекает старых и
малых, одни стоят опершись на ружья, другие
сидят на бревнах,
Из толпы выходит искусный стрелок, становится на
свое место, прицеливается,
Группы новоприбывших эмигрантов толпятся на
пристани или на плотине реки,
Негры работают кирками на сахарных плантациях,
надсмотрщик наблюдает за ними с седла.
Рог трубит, призывает в залу, кавалеры бегут к своим
дамам, танцоры отпускают друг другу поклоны,
Мальчик не спит у себя на чердаке под кедровой
крышей и слушает музыкальный дождь;

---

[1]) В подлиннике turkey — индюк; но несомненно, что автор разумеет здесь turkey-buzzard — особую породу американских ястребов, имеющих отдаленное сходство с индюками.

Житель Ууверайна [1]) ставит западни для зверей у
ручьев, которые наливают водою Гурон [2]),
Скво [3]) завернулась в плащ, подрубленный желтой
материей, предлагает покупателям мокасины и
вышитые бисером мешочки,
Знаток изогнулся на бок и всматривается прищуренными глазами в картины на выставке,
Матросы остановили пароходик и бросили на берег
доску, чтобы дать пассажирам сойти,
Младшая сестра держит клубок для старшей, — из-за
узлов у нее всякий раз остановка,
Маляр пишет вывеску лазурью и золотом,
Через год после свадьбы молодая жена поправляется
и чувствует себя очень счастливой, она родила
первенца неделю назад,
Гладкопричесанная американская девушка шьет на
швейной машинке, или работает на заводе, на
фабрике,
Мостовщик оперся на трамбовку, карандаш репортера
быстро порхает по записной книжке,
Мальчик-бурлак торопливо идет бечевой вдоль канала,
бухгалтер сидит за конторкой и считает, сапожник
натирает нитку воском,
Дирижер отбивает такт для оркестра, музыканты
следуют его указаниям,
Крестят ребенка, у новообращенного первая исповедь,
Яхты приготовились к гонке, заполнили собою всю
бухту, гонки начались (как сверкают белые паруса!)
Гуртовщик следит, чтобы волы не отбились от стада,
и тех, которые отбились, сзывает песней,

. . . .

Разнощик потеет под тяжестью своего короба (но
покупатель торгуется из-за каждого цента),
Невеста разглаживает свое белое платье, минутная
стрелка часов движется медленно,

---

[1]) Ууверайн (Wolverine) — городок в Мичигане близ озера Гурон.
[2]) Озеро Гурон — одно из величайших озер Северной Америки.
[3]) Скво—краснокожая женщина.

Курильщик опия откинул голову и лежит с полуоткрытым
ртом,
Проститутка влачит свою шаль по земле, шляпа висит
у нее на пьяной прыщавой шее, толпа хохочет над
ее неприличною бранью, мужчины глумятся, друг
другу подмигивая (жалкая, я не смеюсь над твоей
неприличною бранью и не глумлюсь над тобой);
Президент ведет заседание кабинета, окруженный
важными министрами,
По площади, дружно обнявшись, чинно шествуют три
величавых матроны,
Матросы смака складывают в трюме целые пласты
палтуса [1]), один на другой,
Миссуриец пересекает прерии со своим товаром
и скотом,
Кондуктор проходит по вагону, получить с поссажиров
плату и бряцает в кармане мелочью,
Настилатели полов настилают полы, кровельщики кроют
крышу, каменщики кричат, чтобы им дали
известку,
Гуськом, неся на плече по корыту для извести, шагают
друг за другом батраки,
Одно время года идет за другим, и четвертого числа
Седьмого Месяца собираются неописуемые толпы
(какие салюты из пушек и малых орудий);
Одно время года идет за другим, пахарь пашет, косит
косарь, и озимь сыплется на-земь;
Далеко на озере стоит щуколов и терпеливо ждет
у проруби,
Частые пни торчат на просеке, скваттер [2]) рубит
топором изо всей силы,
Рыбаки в плоскодонных лодках торопятся попасть до
вечера домой, добраться до хлопковых плантаций
и ореховой рощи,
Охотники за енотом рыскают у Красной Реки, или
у реки Теннесси, или у Арканзаса,

---

[1]) Смак (smack)—маленькое рыболовное судно; палтус—рыба.

[2]) Скваттер, вернее скуоттер—колонист, поселенец на новых местах, которые предоставляются ему во владение, при условии, что он обработает землю для огорода и поля.

Факелы сверкают во мгле, нависшей над Чатахучи или
Альтамахо [1]),
Патриархи сидят за столом с сынами и сынами
сынов и сыновных сынов сынами;
В палатках отдыхают охотники после охоты,
Город спит и деревня спит,
Живые спят, сколько надо, и мертвые спят, сколько
надо,
Старый муж спит со своею женою, и молодой муж
спит со своею женою,
И все они льются в меня и я выливаюсь в них,
И все они—я,
Из них изо всех и из каждого я тку эту песнь о себе.

16 (фрагмент)

Я ученик невежд, я учитель мудрейших,
Я только что начал учение, но я учусь мириады веков;
Я краснокожий, чернокожий, белый, каждая каста—
моя, каждая вера—моя, каждая должность—моя,
Я фермер, джентльмэн, механик, художник, матрос,
Острожник, мечтатель, буян, адвокат, священник, врач.

Я готов бороться с чем угодно, только не с моей
переменчивостью,
Я вдыхаю воздух, но оставляю много за собой,
Я не чваный и знаю свое место.

Моль и рыбья икра на своем месте;
И яркие солнца, которые вижу, и темные солнца,
которых не вижу,—на своем месте.
Осязаемое на своем месте и неосязаемое на своем
месте.

17

Это поистине мысли всех людей, во все времена, во
всех странах, а не мои только мысли,
Если они не твои, а только мои, они ничто,

---

[1]) Чатахучи—река, составляющая западную границу штата Джиорджии; Альтамаха—река в том же штате.

Если они не загадка и не разгадка загадки, они ничто,
Если они не вблизи от тебя и не вдали от тебя,
они ничто.

Это трава, что повсюду растет, где только есть
земля и вода,
Это воздух для всех одинаковый, омывающий шар
земной.

18

С шумной музыкой иду я, с барабанами и трубами,
Не одним лишь победителям я играю мои марши, а и
тем, кто побежден.

Ты слыхал, что хорошо покорить и одолеть?
Говорю тебе, что пасть это также хорошо; это все
равно — разбить или быть разбитым!

Я стучу и барабаню, прославляю мертвецов!
О, трубите, мои трубы, веселее и победнее!

Слава тем, кто сдался!
Слава тем, у кого боевые суда потонули, тем, кто
потонули и сами,
И всем полководцам, проигравшим сражение, и всем
побежденным героям,
И несметным бесславным героям, как и прославлен-
ным, — слава!

19

Это стол, накрытый для всех, для тех, кто понастоящему
голоден,
Для злых и добрых равно;
Я никого не оставлю за дверью, я приглашу всех:
Вор, паразит и содержанка — это для всех приглашение,
Раб с отвислой губой приглашен и сифилитик
приглашен;
Не будет различия меж ними и всеми другими.

Это — пожатие робкой руки, это — развевание и запах
волос.
Это — прикосновение моих губ к твоим, это — страстный,
призывающий шопот.
Это — далекая глубина и высота, отражающая мое лицо.

По-твоему, я — притворщик, и у меня затаенные цели?
Да, они есть у меня, если они есть у апрельских
дождей и у слюды на откосе скалы.

Тебе кажется, что я хотел бы тебя удивить?
Удивляет ли свет дневной или трель горихвостки
в лесу спозаранку?
Разве я более удивителен, чем они?
В этот час я с тобой откровенен;
Этого я никому не сказал бы, — тебе одному говорю.

21 (фрагмент)

Ближе прижмись ко мне, ночь, у тебя обнаженные
груди,
Крепче прижмись ко мне, магнетически пьянящая ночь!
Ночь, у тебя южные ветры, ночь, у тебя редкие,
крупные звезды!
Вся ты колышешься, ночь, безумная, летняя, голая ночь!

Улыбнись и ты, похотливая, с холодным дыханьем
земля!
Земля в синеватом стеклянном сиянии полной луны!
Земля, твои тени и светы пестрят бегущую реку!
Земля, твои прозрачные серые тучи ради меня
посветлели!
Ты далеко разметалась, земля, вся в ароматах
зацветших яблонь!
Улыбнись, потому что пришел твой любовник!

Блудница, ты даришь мне свою любовь, и я отвечаю
любовью!
О, несказанной, страстной любовью!

22

Море! я и тебе отдаюсь, я знаю, чего тебе хочется!
Я вижу с берега твои призывно-манящие пальцы,
Вижу, что ты без меня ни за что не отхлынешь назад,
Идем же вдвоем, я разделся, только уведи меня дальше,
чтобы не подсмотрела земля,
Мягко стели мне постель, укачай меня волнистой
дремотой, облей любовною влагою, я ведь могу
отплатить тебе.

Море, холмисты и длинны твои берега,
Море, широко и конвульсивно ты дышешь,
Море, ты—бытие, в тебе соль бытия, но ты вечно
разверстая наша могила.
Ты завываешь бурями, капризное, изящное море!
Море, я похож на тебя, я тоже одно и все,
Во мне и прилив и отлив, я певец мира и злобы,
Я воспеваю друзей и тех, кто спят друг у друга в
об'ятьях.

Я тот, кто всюду прозревает любовь,
(Можно ли перечислить домашние вещи и забыть о
самом доме, который заключает эти вещи в себе?)

Я поэт не одной доброты, я не прочь быть поэтом злобы.

Что это там за толки о добре и зле!
Зло движет меня вперед, и противление злу движет
меня вперед, я могу оставаться спокоен,
Поступь моя не такая, как у того, кто находит из'яны,
или отвергает хоть что-нибудь в мире,
Я поливаю корни всего, что взросло.

Или очуметь вы боитесь от этих неустанных родов?
Или, по вашему, плохи законы вселенной, и их надобно
сдатьв починку?
Я же думаю: эта сторона в равновесии, и противо-
положная сторона в равновесии...

Эта минута добралась до меня после миллиарда других,
лучше ее нет ничего.

И это не чудо, что все среди нас было и есть прекрасно,
Гораздо чудеснее было бы чудо, если бы меж нами
явился хоть один злодей или неверный.

24 (фрагмент)

Я Уот Уитмэн, космос, сын Мангаттана [1]),
Буйный, дородный, чувственный, пьющий, едящий,
рождающий.
Не сантименталист, не такой, чтобы ставить себя выше
других или сторониться от них.
Я бесчинный и чинный равно.

Прочь затворы дверей!
И самые двери долой с косяков!

Кто унижает другого, тот унижает меня.
И все, что сделано, и все, что сказано, под конец
возвращается ко мне...

Проходя, я говорю мой пароль: демократия,
И клянусь, я не приму ничего, что досталось бы не
всякому поровну.

Через меня глухие голоса без конца,—
Голоса несметных поколений, голоса рабов и колодников,
Голоса больных и отчаявшихся, и воров, голоса циклов,
и уродов, и нитей, связующих звезды, и женских
чресел, и влаги мужской.
Голоса прав, надлежащих униженным,
Голоса дураков, калек, плоскодушных, презренных,
пошлых,
Во мне и воздушная мгла, и жучки, катящие навозные
шарики.

---

[1]) Мангаттан—остров, на котором расположен Нью-Йорк. Уитмэн называл любимый город старинным индейским именем.

Сквозь меня голоса запретные,
Голоса половых вожделений и похотей (с них я снимаю покров),
Голоса разврата, просветленные, преображенные мною;

Совокупление у меня не в бо́льшем почете, чем смерть.

Верую в плоть и ее вожделения;
Слух, осязание, зрение, — вот чудеса, и чудо — каждый отброс от меня;
Я божество и внутри и снаружи, все становится свято, чего ни коснусь,
Запах пота у меня под мышками ароматнее всякой молитвы,
И моя голова превыше всех библий, церквей и вер.

Если и чтить одно больше другого, так пусть это будет мое тело или любая частица его.
Грудь, которая тянется к другим грудям, пусть это будешь ты!
Мозг с непостижимыми извивами, пусть это будешь ты!
Влажный, сладкий корень аира! пугливый кулик! гнездо, где лежат под охраною яйца! пусть это будете вы!
Переливчатые соки клена! фибры мужской пшеницы! — пусть это будете вы!
Солнце такое щедрое, пусть это будешь ты!
Ручьи и росистые капельки пота — пусть это будете вы!..
Мускулистая ширь полей, ветки живого дуба; руки, что я пожимал; лица, что я целовал; всякий смертный, кого я только коснулся, пусть это будете вы!..

О, я стал бредить собою, вокруг так много меня, и как это сладостно...

31

Я верю, что былинка травы не меньше движения звезд,
И что не хуже их муравей, и песчинка, и яйцо королька,
И что древесная жаба шедевр, выше которого нет,

И что черника достойна быть на небе украшеньем
гостиной,
И что тончайшая жилка у меня на руке есть насмешка
над всеми машинами;
И что корова, понуро жующая жвачку, превосходит
всякую статую.
И что мышь, это — чудо, которое может одно пошатнуть
секстильоны неверных.

Во мне и гранит, и уголь, и с долгими волокнами мох,
и плоды, и зерна, и коренья, годные в пищу,
Четвероногими весь я до верху набит, птицами весь я
начинен,
И хоть я не спроста отдалился от них,
Но стоит мне захотеть, я могу позвать их обратно.

Пускай они таятся или убегают,
Пускай огнедышащие горы шлют против меня свой
страшный огонь,
Пускай мастодонт укрывается под истлевшими костями,
Пускай вещи принимают многообразные формы, и
удаляются от меня на целые мили,
Пускай гиганты-чудовища прячутся поглубже в океане,
Пускай птица сарыч гнездится под самым небом,
Пускай лось убегает в отдаленную чащу,
Пускай змея ускользает в лианы или прячется под
бревном,
Пускай пингвин с клювом-бритвой уносится к северу
на Лабрадор,—
Я быстр, я всех настигаю, я взбираюсь на самую
вершину — к гнезду в расселине камня.

32 (фрагмент)

Я думаю, я мог бы вернуться и жить среди животных,—
так они спокойны и кротки.
Я стою и смотрю на них долго и долго.

Они не потеют, не хнычут о своем положении в мире,
Они не плачут по бессонным ночам о своих прегрешениях,

Они не изводят меня, обсуждая свой долг перед Богом,
Разочарованных нет между ними,
И никто из них не страдает манией стяжания вещей,
Никто никому не поклоняется, не чтит подобных себе,
тех, которые жили за тысячу лет;
И нет между ними почтенных, и нет на целой земле
горемык.

Этим они указуют, что они мне сродни, и я готов их
принять, как родных,
Знамения есть у них, что они — это я.
Хотел бы я знать, откуда у них эти знамения,
Может быть, я уронил их нечаянно, проходя по той же
дороге когда-то очень давно...

33

Пространство и Время! Теперь-то я вижу, что я не
ошибся,
Когда я лениво шагал по траве,
Когда я одиноко лежал у себя на кровати,
Когда я блуждал по прибрежью под бледнеющими
звездами утра.

Мои тяготы и цепи спадают с меня,
Локтями я упираюсь в морские пучины, я обнимаю
сиерры,
Я ладонями покрываю сушу,
Я смотрю пред собою вперед.

У городских четырехугольных домов, в деревянных
лачугах, поселившись вместе с дровосеками,
Вдоль дорог, изборожденных колеями, вдоль высохших
оврагов и обмелевших ручьев,
Копая лук в огороде, или пастернак, или морковь,
Пересекая саванны, гоняясь в лесу за дичью, исследуя
землю, роя золото,
Измеряя веревкой стволы где-нибудь на новых местах,
По колено в горячем песке, таща свою лодку бичевой
вверх по обмелевшей реке,

Где пантера снует над головою по сучьям, где на
охотника налетает взбешенный олень,
Где, нежась на солнце, гремучая змея вытягивает
вялое тело,
Где аллигатор спит у канала, весь в затверделых
прыщах,
Где рыщет черный медведь, отыскивая мед или коренья,
Над растущим сахаром, над желтыми цветами хлопка,
Над рисом в низменных, влажных полях,
Над островерхими кровлями фермы, над зубчатыми
кучами шлака, над хилой травой в канавах,
Над западным персимоновым деревом [1]) над кукурузой
с длинными листьями, над нежными, голубыми
цветочками льна,
Над белой и бурой гречихой (там я жужжу, как пчела [2]),
Над темно-зеленой рожью, когда от легкого ветра по
ней бегут струйки и тени,
Взбираясь на кручи, осторожно притягивая себя
веревкой вверх, хватаясь за тощие сучья,
Шагая по тропинке, протоптанной в траве, сквозь
кустарник,
Где между опушкой и нивой слышится свист перепелки,
Где в вечер Седьмого месяца носится в воздухе летучая
мышь,
Где большие золотые жуки падают на землю во тьме,
Где из под старых корней выбивается ключ и струится
в долину,
Где быки отгоняют мух движением дрожащей шкуры,
Где в кухне висит шкурка сыру, где таганы
раскорячились на очаге, где паутина свисает
гирляндами с балок,
Где звякают тяжелые молоты, где типографская машина
вращает цилиндры,
Всюду, где человеческое сердце в страшной судороге
бьется за ребрами,
Где воздушный шар, подобный груше, взлетает вверх
(он поднимает меня, я смотрю, не волнуясь, вниз),

---

[1]) Персимон—американская порода черного дерева (Virginia Ind.).
[2]) В подлиннике: жужжатель и свистун с остальными..

Где лодочка привязана к шару крепкими морскими узлами,
Где солнечный зной, как наседка, греет зеленоватые яйца, зарытые в неровный песок,
Где плавает самка кита, не отставая ни на миг от детеныша,
Где пароход развевает вслед за собой длинное знамя дыма,
Где плавник акулы торчит из воды, словно черная щепка,
Где мечется обугленный бриг по незнакомым волнам, и ракушки уже растут на тенистой палубе, и в трюме гниют мертвецы,
Где во главе полков развевается усеянный звездами флаг [1]),
Направляясь к Мангаттану по длинному узкому острову [2]),
Где Ниагара, свергаясь, лежит, как вуаль, у меня на лице;
На ступенях у порога, на крепкой колоде, которая стоит на дворе, чтобы всадник мог сесть на коня,
На скачках, на веселых пикниках, отплясывая джигу, играя в бэз-болл [3]),
На холостых попойках, с вольными шутками, с крепким словом, со смехом и пьяными плясками,
У яблочного пресса, пробуя сладкую бурую гущу, потягивая сок через соломинку,
На сборе плодов, где за каждое спелое яблоко мне надлежит поцелуй,
На военном смотру, на прогулках по берегу моря, у веялки, на постройке домов,
Где дрозд-пересмешник разливается сладкими трелями, плачет, визжит и гогочет,
Где скирды стоят перед ригой, где разостлано сено для сушки,
Где корова ждет под навесом, а бык уж идет совершить свою мужскую работу, и жеребец к кобыле, и за курицей вслед петух,

---

[1]) Национальный флаг Соединенных Штатов.
[2]) Длинный остров—Лонг Айленд, родина Уота Уитмэна.
[3]) Бэз-болл — игра в мяч, вроде футболла.

Где телки пасутся, где гуси хватают короткими
хватками пищу,
Где от закатного солнца тянутся тени по безлюдной,
безграничной прерии,
Где стадо буйволов покрывает собою землю на
квадратные мили вокруг,
Где сверкает пташка колибри, где шея долговечного
лебедя изгибается и извивается,
Где смеющаяся чайка летает у берега и смеется почти
человеческим смехом,
Где улья стоят в саду, как солдаты, на бурой скамейке,
полузаросшие буйною травою,
Где куропатки, с воротниками на шее, уселись в
кружок на земле, хвостами внутрь, головами наружу,
Где погребальные дроги в'езжают в сводчатые ворота
кладбища,
Где зимние волки лают среди снежных просторов и
обледенелых дерев,
Где цапля в желтой короне пробирается ночью к краю
болот и глотает маленьких крабов,
Где люди ныряют и плавают, охлаждая всплесками
полуденный зной,
Где кати-дид [1]) играет свою хроматическую гамму над
ручьем на каштановом дереве,
По солончакам, по апельсинным аллеям, под
остроконечными елями,
Через гимнастический зал, через гостиную, через
контору, через зал для многолюдных собраний,
Проходя по грядам лимонов и по грядам огурцов с
серебрянными жилками листьев,
Довольный родным и довольный чужим, довольный
новым и старым,
Радуясь встрече с красивою женщиной и с некрасивою
женщиной,
Радуясь, что вот вижу квакершу, как она шляпку
сняла и говорит мелодично,
Довольный пением хора в только что выбеленной
церкви,

---

[1]) Кати-дид — американский кузнечик.

Довольный горячей речью вспотевшего методистского пастыря,
Сильно взволнованный общей молитвой на воздухе,
Проводя все время на Бродуэе [1]) у магазинных витрин, носом прижимаясь к оконному стеклу,
А после полудня до вечера глядя вверх, на облачное небо, или вниз в переулок, или на морское прибрежье,
Обхватив рукою товарища, а другою—другого и шагая посредине меж ними,
Возвращаясь домой с молчаливым и смуглым бушбоем [2]) (в сумерках он едет за мной на коне),
Вдали от людских поселений, идя по звериным следам или по следам мокасинов,
У больничной койки, подавая лихорадящим больным лимонад,
Над покойником, лежащим в гробу, когда все вокруг тихо, всматриваясь в него со свечой,
Отплывая в каждую гавань за товарами и приключениями,
В шумной толпе, впопыхах, я такой же ветреный и суетливый, как все,
Готовый кинуться на врага с ножом в минуты гнева,
В полночь, лежа без мыслей в одинокой каморке, выходящей окнами во двор,
Блуждая по старым холмам Иудеи бок-о-бок с прекрасным и нежным Богом,
Носясь по просторам, пролетая в небесах между звезд,
Пролетая меж хвостатых метеоров, и подобно им оставляя за собою вереницу огненных шаров,
Нося с собою месяц-младенца, который во чреве несет свою полнолунную мать,
Пролетая средь семи сателлитов, сквозь широкое кольцо в восемьдесят тысяч миль в диаметре,
Бушуя, любя и радуясь, исчезая и вновь появляясь,
День и ночь я блуждаю такими тропами.
Я посещаю сады планет и смотрю, хорошо ли растет,

---

[1]) Бродуэй — главная улица Нью-Йорка.
[2]) Буш-бой — молодой колонист, живущий в местности, еще не расчищенной от дикого кустарника.

Я смотрю квинтильоны созревших и квинтильоны
незрелых.

Я летаю такими полетами текучей и глотающей души,
До той глубины, где проходит мой путь, никакой лот
не достанет.

Я глотаю и дух, и материю,
Нет такого сторожа, который мог бы прогнать меня,
Нет такого закона, который мог бы препятствовать мне.

Я бросил якорь с моего корабля лишь на короткое
время,
Мои посланные спешат от меня на разведки и возвра-
щаются ко мне с донесениями.

С острой рогатиной я иду на охоту за тюленем и белым
медведем,
Я прыгаю через глубокие ямы, я хватаюсь за ломкие
синие льдины,
Я взбираюсь на переднюю мачту, влезаю в бочонок
для вахты,
Мы плывем по северному морю в светлую белую ночь,
Воздух прозрачен, я смотрю на изумительную красоту,
Необ'ятные ледяные громады плывут мимо меня, и я
плыву мимо них, все отчетливо видно вокруг,
Вдали показались беловершинные горы, навстречу им
летят мои мечты,
Мы приближаемся к полю сражения, скоро мы вступим
в бой,
Мы проходим мимо аванпостов грандиозного лагеря,
мы проходим осторожно и медленно,
Или мы входим в большой, разрушенный город,
Развалины зданий и глыбы камней больше всех живущих
городов на земле.

Я доброволец солдат, мой бивак у сторожевых огней,
Я гоню из постели мужа, я сам остаюсь с новобрач-
ной и всю ночь прижимаю ее к моим бедрам и к
губам.

Мой голос есть голос жены, ее крик у перил на лестнице:
Труп моего мужа несут ко мне, с него каплет вода, он — утопленник.

Я понимаю широкие сердца героев,
Нынешнюю храбрость и храбрость минувших времен,
Как шкипер увидал разбитое судно, в нем люди, оно без руля,
Смерть во всю бурю гналась за ним, как охотник, —
Шкипер пустился за судном, не отставая ни на шаг, днем и ночью верный ему,
И мелом написал на борту: „Крепитесь, мы вас не покинем".
Как он носился за ними, не покидал их три дня и три ночи,
Как он спас, наконец, полумертвых,
Что за вид был у дряблых женщин, в обвислых платьях, когда их увозили прочь от разверзтых перед ними могил,
Что за вид у молчаливых младенцев, со стариковскими лицами, и у небритых обросших мужчин,
Я это глотаю, мне это по вкусу, мне нравится это, я это впитал в себя,
Я человек, я страдал вместе с ними.

Надменное спокойствие мучеников,
Женщина, уличенная ведьма, горит на сухом костре, а дети ее стоят и глядят на нее,
Загнанный раб, изнемогший от бега, в поту, пал на плетень отдышаться,
Судороги колют его ноги и шею, как иглы, смертоносная дробь и ружейные пули,
Эти люди — я, и их чувства — мои.

Я — этот загнанный негр, это я от собак отбиваюсь ногами,
Вся преисподняя следом за мною,
Щелкают, щелкают выстрелы, я за плетень ухватился,
Мои струпья сцарапаны, кровь каплет, сочится,

Я падаю на камни, в бурьян,
Лошади заупрямились, верховые понукают их,
Уши мои, как две раны от этого крику,
И вот меня бьют сразмаху по голове кнутовищами.
Предсмертные судороги я меняю, как меняют
одежду,
У раненых я не пытаю о ране, я сам становлюсь тогда
раненым,
Мои синяки багровеют, пока я стою и смотрю, опи-
раясь на легкую трость.

Я раздавленный пожарный, у меня сломаны передние
ребра,
Стены дома упали и придавили меня.
Я вдыхаю дым и жаркий воздух, я слышу, как кричат
мои товарищи,
Я слышу, как стучат вдалеке их кирки и лопаты,
Они убирают упавшие балки и бережно поднимают
меня.

И вот я лежу на воздухе, ночью, в красной рубахе,
никто не шумит, чтобы не тревожить меня,
Я не чувствую боли, я истощен, но счастлив,
Вокруг меня бледные, прекрасные лица, товарищи сняли
свои медные каски,
Понемногу коленопреклоненная толпа тает с горящими
факелами.

Далекие и мертвецы воскресают,
Они мой циферблат, они движутся, как часовые
стрелки, я — часы.

Я старый артиллерист, я рассказываю о бомбардировке
моего форта,
Вновь я там.

Вновь барабанный бой,
Вновь атака пушек и мортир,
Вновь я прислушиваюсь к ответной пальбе.

Я сам в этом деле, я вижу и слышу все:
Вопли, проклятия, рев, крики радости, когда ядро
попало в цель;
Проходят медлительные лазаретные фуры, с них
каплют красные капли,
Рабочие смотрят, нет ли каких повреждений, и делают
нужнейший ремонт,
Падение гранаты через расщепленную крышу,
веерообразный взрыв,
Свист летящих в вышину голов, рук и ног, дерева,
камня, железа.

Вновь мой генерал умирает, вновь у него изо рта вы-
рываются журчащие звуки,
Он яростно машет рукою и выдыхает запекшимся
горлом:
— „Думайте не обо мне... а о... траншеях“.

43

Я не отвергаю вас, священники, никого и нигде,
Величайшая вера — моя, и самая малая — тоже моя,
Я вмещаю древнюю религию и новую, и ту, что между
древней и новой.
Я верю, что я снова приду на землю через пять тысяч
лет,
Я ожидаю ответа оракулов, я чту богов, я кланяюсь
солнцу,
Я делаю себе фетиша из первого камня или пня,
Я помогаю ламе или брамину, когда тот поправляет
перед кумиром светильники,
В фаллическом шествии я пляшу на улице, я одержимый
гимнософист, суровый, в дебрях лесов,
Я пью из черепа дикий мед, я чту Шасты и Веды,
я держусь Корана,
Я вхожу в мексиканский храм, в пятнах крови от ножа
и камня, и бью в змеинокожий барабан
Я принимаю Евангелие, я принимаю того, кто был
распят, я наверное знаю, что он был Бог,

Я католик, я стою всю мессу на коленях, я пуританин,
встаю для молитвы или пою псалмы, сидя недвижно
на церковной скамье,
С пеной у рта, исступленный, я бьюсь в припадке
безумия,
Или сижу мертвецом и жду, чтобы дух мой воспрянул,
Я смотрю вперед на мостовую, на землю или в сторону
от мостовой и земли,
Я из тех, что вращают колеса колес.

Я становлюсь одним из этой центростремительной и
центробежной толпы,
Я говорю, как говорит человек, отправляющийся в
путь и оставляющий своим домашним поручения.

Упавшие духом, одинокие и мрачные скептики,
Легкомысленные, унылые, злые безбожники,
Я знаю каждого из вас, я знаю море сомнения, тоски,
неверия, отчаяния, муки.

Как плещутся камбалы!
Как они бьются, корчатся, быстро, как молния, спазмами
и прибоями крови!

Будьте спокойны, окровавленные маловерные камбалы,
я ваш, я с вами, так же, как и со всеми другими,
И вас, и меня, и всех ждет равное будущее.

Я не знаю, каково наше будущее,
Но я знаю, что оно не плохое, и что оно непременно
наступит.

Оно уготовано всем: и тому, кто идет, и тому, кто стоит,
Оно не обойдет никого.

Оно суждено и тому молодому мужчине, который
похоронен в могиле,
И той женщине, которая погребена рядом с ним,
И тому ребенку, который глянул на мгновение из-за
двери и скрылся за нею навсегда,
И тому старику, что прожил без цели и смысла и теперь
томится в тоске, которая горше, чем жолчь,

И тому чахоточному, — в убогой квартире, — который
заболел от разнузданной жизни и пьянства,
И бесчисленным убитым и погибшим, и озверелым кобу́,
именуемым навозом человечества,
И ничтожным пузырькам, которые просто плывут по
воде, с открытыми ртами, чтобы пища вливалась
им в рот,
И всякому предмету на земле или в древнейших могилах земли,
И всему, что в мириадах планет,
И мириадам мириад, которые живут на этих планетах,
И настоящему, и самой маленькой горсти соломы.

44 (фрагмент)

Встанем! приблизилось время открыться мне перед вами.

Все, что изведано, я отвергаю,
Риньтесь, мужчины и женщины, вместе со мною
в Неведомое.

Часы отмечают минуты, где же часы для вечности?

Мы уже давно истощили триллионы, весен и зим,
Но в запасе у нас есть еще триллионы, и еще, и еще
триллионы.

Те, кто прежде рождались, принесли нам столько
богатств,
И те, кто родятся потом, принесут нам новые богатства.

Все вещи равны между собою: ни одна не больше и
не меньше;
То, что заняло свое место и время, таково же, как и
все остальное.

Люди были жестоки или завистливы к тебе, о мой
брат, о моя сестра!
Я очень жалею тебя, но ко мне никто ни жесток, ни
завистлив.

Все вокруг было нежно ко мне, мне не на что
жаловаться.
(Поистине, на что же мне жаловаться!).

Я — вершина всего, что уже свершено, я начало всего
грядущего.

Я взошел на верхнюю ступень,
На каждой ступени века и между ступенями тоже века,
Пройдя все, не пропустив ни одной, я карабкаюсь
выше и выше.

Внизу, в глубине я вижу первоначальное Ничто, я
знаю, что я был и там,
Невидимый, я долго там таился и спал в летаргическом
тумане,
Зловонный углерод не сделал мне вреда.

Долго готовилась вселенная, чтобы создать меня.
Ласковы и преданны были те руки, которые направляли
меня,
Вихри миров, кружась, носили мою колыбель, они
гребли и гребли, как лихие гребцы,
Сами звезды уступали мне место.

И покуда я не вышел из матери, поколения направляли
мой путь,
Мой зародыш в веках не ленился, и что могло бы его
задержать!

Для него сгустились в планету мировые туманы,
Пласты наслоялись, чтобы дать ему твердую почву,
И гиганты-растенья давали ему себя в пищу,
И чудище-ящер лелеял его в своей пасти и бережно
нес его дальше.

Все мировые силы трудились надо мною от века, чтобы
создать и радовать меня,
И вот я стою на этом месте со своею крепкою душою.

45

О, мгновенная юность, подвижная и гибкая!
О, уравновешенная, пышно-цветущая зрелость.

Влюбленные в меня душат меня,
Они теснятся к моим губам, тискаются в поры моей
кожи,
Волокут меня по улицам и людным местам,
Голые приходят ко мне по ночам,
Днем они кричат мне Эгой! со скалы над рекою, качаясь
и щебеча наверху,
Они кличут меня с цветников, виноградников, из чащи
густых лесов, они называют меня по имени,
Ими озарен каждый миг моего бытия,
Они целуют мое тело бальзамическими, нежными
поцелуями,
И полные горсти сердец они бесшумно дают мне в
подарок.

О, величавый восход старости! Здравствуй, величавый
восход умирающих дней!

Все сущее утверждает не только себя, но и то, что
растет из него,
И у темного молчания смерти есть ростки.

Ночью я открываю окно и смотрю, как далеко
разбрызганы в небе миры,
И все, что я вижу — умножьте сколько хотите, — есть
только граница новых и новых вселенных.

Дальше и дальше уходят они, расширяясь, вечно
расширяясь.

Нет ни на миг остановки, и не может быть остановки.
Если бы я и вы, и все миры, сколько есть, и всё, что
на них и под ними, снова в эту минуту свелись к
бледной текучей туманности, это была бы безделица
при нашем долгом пути.

Мы вернулись бы снова сюда, где мы стоим сейчас, и
отсюда пошли бы дальше, все дальше и дальше.

Несколько квадрильонов веков, немного октильонов
кубических верст не задержат этой минуты, не
заставят ее торопиться: они только часть и все
только часть.

Как далеко ни смотри, за твоею далью есть дали.
Считай сколько хочешь, неисчислимы года.

Мое rendez-vous назначено, сомнения нет:
Бог непременно придет и подождет меня, мы с ним
такие друзья.
Великий Товарищ, вечный возлюбленный, о ком я
томлюсь и мечтаю, он будет там непременно.

46

Я знаю, что лучшее место — мое, и лучшее время — мое.
Еще никто не измерил меня и никогда не измерит.

Я всегда налегке, в дороге (придите все и послушайте!),
Мои знаменья: дождевой плащ и добрая обувь, и палка,
срезанная в лесу.
Друзья не придут ко мне и не рассядутся в креслах,
Кресла нет у меня, нет ни философии, ни церкви,
Я никого не веду к обеду, в библиотеку, на биржу,
Но каждого из вас, мужчин и женщин, я возвожу на
холм,
Левой рукой я обнимаю ваш стан,
А правой указываю на континенты и большую
дорогу.

Ни я, ни кто другой не может пройти эту дорогу за вас,
Вы должны пройти ее сами.

Она недалеко, она здесь возле вас,
Может быть, вы уже бывали на ней, сами о том не зная,
Может быть, она повсеместно на земле и воде.

Возьми свои пожитки, мой сын — ты свои, я свои — и
поспешим в путь,
Чудесные города и свободные страны мы понесем
по пути.
Если ты устал, возложи на меня твою ношу, обопрись
о мое бедро,
А когда наступит мой черед, ты отплатишь мне такой
же услугой,
Ибо с той минуты, как мы двинулись в путь, нам уже
не случится прилечь.

Сегодня перед рассветом я взошел на вершину горы и
увидел кишащее звездами небо,
И сказал моей душе: Когда мы овладеем планетами
и всеми этими шарами вселенной, и всеми
их усладами, и всеми познаниями, будет ли
с нас довольно?
И моя душа сказала: нет, этого мало для нас, мы
пройдем мимо — и дальше.

Ты задаешь мне вопросы, и я слышу тебя,
Я ответил, что я не в силах ответить, ты сам должен
ответить себе.

Присядь на минуту, мой сын,
Вот сухари для еды, вот молоко для питья,
Но когда ты отдохнешь и освежишься и наденешь
мягкие одежды,
Я дам тебе прощальный поцелуй и открою для тебя
ворота, чтобы ты ушел от меня.

Слишком долго тебе снились постыдные сны,
Я смываю гной с твоих глаз,
Ты должен приучить свои глаза к ослепительной
яркости света и каждого мгновенья твоей жизни,
Слишком долго ты копошился у берега, робко держась
за доску,
Теперь я хочу, чтобы ты был бесстрашным пловцом,
Чтобы ты вынырнул в открытом море, крича и кивая мне,
И со смехом окунулся опять!

48

Я сказал, что душа не больше, чем тело,
И я сказал, что тело не больше, чем душа,
И никто, даже Бог, не выше, чем каждый из нас для
себя,
И тот, кто идет без любви ко всему хоть минуту, идет
на погребенье к себе, завернутый в собственный
саван,
И я или ты, без полушки в кармане, можем купить
всю землю,
И глазом увидеть. Стручок гороху превосходит всю
мудрость веков,
И в каждом деле, в каждой работе юноше открыты
пути для геройства,
И о пылинку ничтожную могут запнуться колеса
вселенной,
И всякому я говорю: да будет твоя душа безмятежна
перед миллионом вселенных

И я говорю всем людям: не пытайте о Боге,
Даже мне, кому все любопытно, не любопытен Бог.
(Не сказать никакими словами, как мало мне дела до
Бога и смерти)

В каждой вещи я вижу Бога, но совсем не понимаю
Бога,
Не могу я также понять, кто чудеснее меня самого.

К чему мне мечтать о том, чтоб увидеть Бога лучше,
чем я вижу его сейчас?
На лицах мужчин и женщин я вижу Бога, и в зеркале
на моем лице,
Я нахожу письма от Бога на улице, и в каждом есть
его подпись,
Но пусть они останутся где они были, ибо я знаю, что
куда ни пойду,
Мне попадутся такие же во веки веков.

52

Пестрый ястреб проносится мимо и упрекает меня,
Он жалуется, что я болтаю и мешкаю.

Я такой же дикий, как он, я такой же непонятный,
как он.
Я испускаю мой варварский вопль над крышами мира.

Последнее облачко дня замедлилось ради меня.
Я похож на него, как и на все остальное,
Оно соблазняет меня превратиться в туман и тьму.

Я улетаю, как воздух, вслед за бегущим солнцем я
развеваю мои белые кудри,
Мое тело тает и струится.

Я завещаю себя грязной земле, из которой я вырасту
моей любимой травой,
Если вы захотите снова увидеть меня, ишите меня у
себя на подошвах.

Едва ли вы узнаете меня, едва ли догадаетесь, чего я хочу,
Но я буду для вас добрым здоровьем,
Я очищу и укреплю вашу кровь.

Если вам не удастся найти меня сразу, не падайте
духом,
Если не найдете меня в одном месте, ищите меня в
другом,
Где-нибудь я остановился и жду.

ДЕТИ АДАМА

Запружены реки мои

Запружены реки мои, и это причиняет мне боль,
Нечто есть у меня, без чего я был бы ничто,
Это хочу я прославить, хотя бы я стоял меж людей
одиноко,
Голосом зычным моим я воспеваю фаллос,
Я пою песнь зачатий,
Нам нужны наилучшие дети и в них наилучшие люди,
Я пою возбуждение мышц и слияние тел,
Я пою песнь для тех, кто спит на одной кровати
(о неодолимая похоть,
О, взаимное притяжение тел — для каждого тела свое
манящее тело,
Ради того, что ночью и днем, голодное, гложет меня,
Ради мгновений, когда я зарождаю ребенка, ради этих
застенчивых болей (я воспеваю и их,
В них я надеюсь найти то, чего не нашел нигде, хотя
ревностно искал много лет),
Я пою чистую песнь души, вспыхивающей яркими
вспышками,
Я возрождаюсь с животными, вместе с грубейшей
природой,
Этим я песни свои насыщаю, а также тем, что
сопутствует этому,
Запахом лимонов и яблок, весенней влюбленностью птиц,
Лесною росою, набеганием волн,
Диким набеганием волн на сушу (я воспеваю и их),
Желанною близостью, видом прекрасного тела, —
Пловец обнаженный, плывущий в воде, или на спине
на волне неподвижно лежащий,
Близится женское тело, я потупляюсь, любовная
плоть у меня и дрожит, и болит,
Загадочный бред, безумство страсти, о, отдаться тебе
до конца
(Ближе прижмись и слушай, что я прошепчу тебе:
Я люблю тебя, я принадлежу тебе весь,

О, только бы нам ускользнуть ото всех, убежать
беззаконными и вольными,
Два ястреба в небе, две рыбы в волнах не так
беззаконны как мы!).

О, дикая буря, через меня проходящая, и я, от страсти
дрожащий,
О, клятва о том, что мы слиты на веки — я и женщина
которая любит меня и которую я люблю больше
чем жизнь мою
(О, я охотно сейчас отдал бы все за тебя,
И если нужно, да сгину,
Только бы ты и я! И что нам до того, что делают и
думают другие!

Что нам до всего остального? Только бы нам
насладиться друг другом и исчерпать друг друга
совсем до конца, если иначе нельзя!)
Ради того капитана, которому я уступаю все судно,
Ради того генерала, который командует мною,
командует всеми,
Ради нашего пола, основы всего,
Ради того, что в тиши я так часто томился в стороне
ото всех, когда множество близких вокруг, а та,
кого хочешь, не близко,
Ради долгого задержанного поцелуя в грудь или губы,
Ради тесных об'ятий, которые делают пьяным меня и
всякого другого мужчину,
Ради того, что знает хороший супруг, ради этой
работы отцовства,
Ради безумства, победы и отдыха (податливое одеяло
отброшено прочь!)
Ради того, что она так не хочет, чтобы я от нее
оторвался, и я не хочу оторваться,
(Но, нежная, помедли мгновение, и я опять возвращусь
к тебе!)
Ради этого часа, когда звезды сияют и падают росы,
Я славлю тебя, о, священное дело, и вас, о, дети,
уготованные к нему,
И вас, могучие чресла.

Я пою электрическое тело

(Фрагмент)

4

Я заметил, что быть с теми, кто мне нравится,—довольно,
Провести вечер в тесном кругу,—довольно,
Быть окруженным живою, прекрасной плотью, которая дышит и смеется—довольно,
Проходить среди людей и касаться их тела и обнимать то мужскую, то женскую шею, чего мне еще!
Большего счастия я не прошу, я плаваю в этом, как в море.

Стоять близко к мужчинам и женщинам, смотреть на них, касаться их руками, вдыхать их запах—это радует душу,
Все вещи радуют душу, но это радует очень.

5

Это—женское тело.
С головы до ног от него исходит божественный свет,
Оно тянет к себе ярым неодолимым притяжением,
Под его дыханием, я, как беспомощный пар, все с меня упадает тогда, остаемся только я да оно,
Книги, искусства, религии, время и то, чего я ждал от небес, и то, что меня ужасало в аду, все исчезает тогда,
Какие-то безумные нити, какие-то дикие ростки неудержимо из него пробиваются,
Прилив и отлив любви, сладкие муки вздымаемой, крепнущей плоти,
Бьющая влага любви, горячие, обильные брызги, белый, густой, исступляющий сок,
Новобрачная ночь любви, верно и нежно входящая в распростертый рассвет.

Женщина—это зерно: ребенок рождается женщиной, мужчина рождается женщиной,

Это баня, купель родов, из которой исходят все вещи,
большие и малые, — это вечный, неустанный исход.

Женщины, что вам стыдиться! вы — ворота тела,
вы — ворота души.

В женщине — все, все качества, она придает им
гармонию,
Она на своем месте, она в равновесии, она движется
гармонично и прямо,
Она — все вещи, под достодолжным покровом,
Она и действенная и косная равно,
Она родит не только дочерей, но и сыновей, не только
сыновей, но и дочерей.

Когда я вижу мою душу, отраженную в Природе,
Когда я вижу сквозь дымку Кого-то в невыразимой
законченности, в красоте и здоровье,
Вижу склоненную голову, руки, сложенные на груди, —
Женщину вижу я.

6

Мужское тело в продаже!
(Я часто до войны ходил побродить на невольничьем
рынке).
Глупый купец не умеет торговать. Я охотно ему помогу.

Джентльмэны! Пред вами чудо!
Какой бы ценой ни ценили его, какую бы цену ни
просили, цены этой мало,
Чтоб создать это чудо, наша земля готовилась
миллиарды веков,
Для него без остановки, без запинки кружились,
вертелись миры.
Взгляните на эту голову, в ней всесокрушающий мозг,
Посмотрите на эти руки и ноги, красные, черные, белые,
как мудры в них жилы и нервы,
А какие чудеса внутри!

Там кровь пробегает, та же самая древняя кровь, та
же самая вечная, красная кровь;
Там набухает и мечется сердце, там все желания,
стремления, страсти;
(Или вы думаете что их там нет, раз они не изливаются
в салоне или на лекции в аудитории?)

Он не один, он отец тех, кто станут отцами и сами,
Многолюдные царства таятся в нем, гордые богатые
республики.
И знаете ли вы, кто придет от потомков потомков его!
(Можете ли вы доискаться, от кого произошли вы сами,
если всмотреться в былые века?)

8

Нет на свете святыни, если тело человека не свято.
Мужское и женское чистое, крепкое тело красивее,
чем самое красивое лицо...

Женщина ждет меня

Женщина ждет не дождется меня,
У нее нет недостатка ни в чем, она вмещает в себе
все без из'яна,
Но не было бы у нее ничего, если бы у нее не было
пола,
Если бы у истинного мужа не было влаги для нее.

Пол вмещает все, и тело, и душу,
Все в нашем поле, — надежды и страсти, красоты и
услады земли,
Власти, боги и судьи, доброта, здоровье, гордость,
Все это пол и от пола, здесь его оправдание.

Тот мужчина, который мне люб, без стыда исповедует,
что его пол ему сладок,
И женщина, которая мне по душе, без стыда исповедует,
что ее пол ей сладок.

Я уйду от бесстрастных женщин,
Я пойду и побуду с той, которая ждет не дождется
меня, с теми, у которых горячая кровь, которые
меня утолят,
Я вижу, что они достойны меня, и я буду им крепкий
супруг.
Они мне подстать,
От пламенных солнц и от буйных ветров у них
загорелые лица,
Божественна древняя гибкость их тел,
Они умеют скакать на коне, плавать, грести, бороться,
бегать, стрелять, отступать, нападать, защищаться,
Они горды своим бытием, они ясны, гармоничны и
спокойны.
Я прижимаю вас к себе, женщины, я не вправе
отпустить вас, я хочу вам добра,
Вы — для меня, я — для вас, но мы служим кому-то
Иному:
В ваших недрах таятся герои и барды, которые
могучее меня,
Они дремлют в ваших телах и не желают проснуться
от прикосновения другого мужчины,
Только я могу их разбудить.

Это я, это я, о, женщины,
Грубый, нещадный, большой, непреклонный,
Но вас я люблю, я больно не сделаю вам больше, чем
вам это надо,
Я вливаю в вас свое вещество, чтобы воплотить через
вас тысячи будущих лет,
Я не смею оторваться от вас, покуда я не дам на хране-
ние того, что скопилось во мне.

Я долго был запруженной рекою, теперь мою запруду
прорвало, и вот я вливаюсь в вас,
Капли, которые я вливаю в вас, да станут могучими,
ярыми девушками, новыми певцами, музыкантами,
Любимыми Америкой и мною.

За эту затрату любви я потребую, чтобы вы родили
наилучших мужчин и женщин,
Я захочу, чтобы они так же сливались, как сливаемся
мы сейчас, —
Да вырастут севом богатым у них и рождение, и
смерть, и бессмертье, и жизнь,
Которые ныне я сею любовью моей.

Час исступления и радости

Час исступления и радости! О, безумная! Дай же мне
волю!
(Что это в вихрях, в бурях так освобождает меня?
О чем, отчего я кричу среди молний и лютых ветров?)

О, испить эти тайные бреды глубже всякого другого
мужчины!
О, дикие и нежные боли! (я завещаю их вам, мои дети,
Я возвещаю их вам, о, новобрачные муж и жена!)

О, отдаться тебе, кто бы ни была ты, а ты чтобы мне
отдалась,
Наперекор всей вселенной,
О, вернуться обратно в Рай! О, женственная и
застенчивая!
О, притянуть тебя близко к себе и впервые за все
это время прижать к тебе настойчивые губы
мужчины.

О, загадка, о, трижды завязанный узел, о, темный,
глубокий омут, — сразу распуталось все и
озарилось огнем!

О, наконец-то умчаться туда, где достаточно простора
и воздуха,
О, вырваться на волю от прежних цепей и
условностей — ты от твоих и я от моих!

Найти какую-то неслыханную небрежность и вольность
с лучшим, что есть в Природе!

Снять, наконец-то, замок, замыкавший уста!

Почувствовать, что, наконец-то, сегодня, я совершенно
доволен, и больше мне не надо ничего!

Сорваться со всех якорей и зацепок! Кинуться куда-то
стремглав!
То насмешкой, то ласкою звать, призывать к себе
гибель!
Если нужно, пропасть, затеряться!
Напитать всю остальную жизнь этим часом полноты и
свободы,
Коротким часом безумства и радости!

Мы двое, как долго мы были обмануты

(Фрагмент)

Мы двое, как долго мы были обмануты,
Теперь, преображенные, мы ускользаем так быстро,
как ускользает Природа,
Мы Природа, нас долго не было дома, теперь мы
вернулись домой,
Мы два дуба, мы рядом взрастаем в расщелинах скал,
Мы на пастбище, в диком стаде, вольные, щиплем
траву,
Клыкастые, четвероногие, в чаще лесной мы бросаемся
одним прыжком на добычу,
Мы два моря, смешавшие, слившие воду в одно,
Мы веселые волны — налетаем одна на другую и
обливаем друг дружку,
Мы снег, ливень, мороз и тьма, — мы все, что только
создано землею,
Мы кружились и кружились в просторах, и вот,
наконец, мы дома,
Мы исчерпали все, нам осталась лишь воля да радость.

АИР [1])

Жуткое сомнение во всех обличиях

Жуткое сомнение во всех обличиях,
Тревога: а что если нас надувают?
Что если наша доверчивость и наши надежды напрасны,
И загробная жизнь есть лишь красивая сказка,
И, может быть, то, что я вижу: животныя, травы,
холмы и люди, бегущие, блистающие воды,
Ночное, дневное небо, краски и формы, может быть,
это (и даже наверное) только одни привидения,
а настоящая истина еще не открылась для нас;
Как часто все вещи встают предо мной без покрова,
будто затем и встают, чтобы посмеяться надо мной,
чтобы подразнить меня
Как часто мне кажется, что ни я, ни другие не знают,
о них подлинной правды,
Но эти сомнения исчезают (так странно) перед лицом
моих милых, моих друзей

Если тот, кого я люблю, пойдет побродить со мною,
или сядет рядом со мною, держа мою руку в своей,
Что-то неуловимо-неясное, какое-то знание без слов и
мыслей охватит нас и проникнет в нас,
Неиз'яснимой, неиз'ясняемой мудростью тогда я исполнен,
тихо сижу и молчу, ни о чем уже больше не
спрашиваю,
Я все же не в силах ответить на свои вопросы о
смерти и о будущей жизни за гробом
Но что мне за дело тогда, сижу или хожу, я спокоен
Кто держит за руку меня, тот утолил мои тревоги вполне

---

[1]) Тростниковое болотное растение с пряным и горьким корнем, Acorus Calamus.

Летописцы будущих веков

Летописцы будущих веков,
Ступайте сюда, я скажу вам, что написать обо мне,
Обнародуйте мое имя, и мой портрет повесьте повыше,
ибо имя мое — это имя того, кто умел так нежно любить,
И мой портрет — портрет друга, любимого другом —
Того, кто не песнями своими гордился, а безграничным в душе океаном любви, кто из себя изливал его щедро на всех,
Кто часто блуждал на путях одиноких, о друзьях о желанных мечтая,
Кто часто в разлуке с другом скорбный лежал по ночам без сна,
Кто хорошо испытал, как это страшно, как страшно, что тот, кого любишь, может быть, втайне к тебе равнодушен,
Чье счастье бывало: по холмам, по полям, чрез леса пробираться, обнявшись вдвоем, в стороне от других;
Кто часто, блуждая по улицам с другом, клал себе на плечо его руку, и свою — к нему на плечо

Когда я услыхал к концу дня

Когда я услыхал к концу дня, как имя мое в Капитолии встретили рукоплесканиями, та ночь, что пришла вослед, все же не была счастливой ночью,
И когда мне случалось пировать, или желания мои исполнялись, все же не был я счастлив,
Но день, когда я встал на рассвете с постели,
освеженный, очень здоровый, и вдохнул созревшую осень,
И, глянув на запад, увидел луну, как она бледнела, исчезая при утреннем свете,
И на берег вышел один и, раздевшись, пошел купаться, смеясь от холодной воды, и увидел, что солнце восходит,

И вспомнил, что мой милый, мой друг, мой любимый
теперь по пути ко мне, — о, тогда я был счастлив,
И воздух стал слаще, и пища вкуснее, и день хорошо
пошел,
И с таким же весельем пришел другой, а на третий
под вечер пришел мой любимый,
И ночь наступила, все было тихо, и я услышал, как
волны катились к земле неустанно,
Я слушал, как вода шуршала песком, как будто шептала,
меня поздравляя,
Потому что тот, кого я любил, лежал со мною рядом,
спал под одним одеялом со мною в эту прохладную
ночь,
И в тихих лунных осенних лучах его лик был обращен
ко мне,
И рука его тихо, легко лежала у меня на груди,
обнимая, — и в эту ночь я был счастлив.

Незнакомому

Незнакомый прохожий! ты не знаешь, как жадно, как
страстно я смотрю на тебя,
Ты тот, кого я повсюду искал (это меня осеняет, как
сон),
С тобою когда-то мы жили веселою жизнью,—
Все припомнилось мне в эту минуту, когда мы проходим
мимо, возмужалые, целомудренные, любящие.
Вместе с тобою я рос, мальчишками мы вместе играли,
С тобою я ел, с тобою спал, и вот твое тело—не только
твое, и мое — не только мое,
Проходя мимо, ты даришь мне усладу своих глаз, своего
лица, своего тела, и за то ты берешь мою бороду,
руки и грудь в обмен,
Мне с тобою не обменяться ни словом, мне только
думать о тебе на моем одиноком пути или ночью,
когда проснусь,
Мне только ждать, я уверен, что встречу тебя снова,
Мне только не лишиться тебя [1]).

[1]) По английски это стихотворение написано так, что оно равно может относиться к мужчине и женщине.

Мы — двое мальчишек

Мы — двое мальчишек, мы вечно вдвоем,
За руки взявшись, мы всюду снуем,
Направо, налево, на юг и на север,
Локтями пробьемся, захватим руками, в восторге от силы своей,
Везде нам и стол и квартира, мы пьём и влюбляемся,
Законов не знаем, мы сами законы, воруем, деремся, пускаемся в море,
Дрожите, скупцы, и рабы, и попы,
Мы воздухом дышем, мы пляшем у моря,
Города осаждая, презирая покой, попирая уставы, издеваясь над слабым,
Хватая добычу везде!

Если кого я люблю

Если кого я люблю, я бешусь порою от тревоги, что люблю напрасной любовью,
Но теперь мне сдается, что нет напрасной любви, что плата здесь верная, та или иная,
(Я любил одного человека, который меня не любил,
Но вот оттого я написал эти песни).

Ты, за кем, бессловесный

Ты, за кем, бессловесный, так часто ходил я повсюду, чтобы только побыть близ тебя,
Когда я шел с тобою рядом, или сидел невдали, или в комнате вместе с тобою оставался,
Ты и не думал тогда, какой тонкий электрический огонь играет во мне из-за тебя.

ИЗ ДНЕВНИКА

SPECIMEN DAYS

1870—1890

ПРЕДИСЛОВИЕ

На склоне лет Уот Уитмэн обнародовал книгу „Образцы дней“ (Specimen Days). Как это ни странно, но по языку и литературным приемам книга напоминает „Уединенное“ Розанова. Тот же якобы неряшливый слог, тот же тон, — интимный и домашний. Словно щеголяя своей нелитературностью, Уот Уитмэн (как Розанов) стилизует свою прозу под фамильярную, отрывочную, случайную речь — обо всем, что придется: о погоде, войне, философии. С нарочитой небрежностью он (как и Розанов) сообщает читателю отрывки из своего дневника, отрывки из частных писем, вырезки из старых газет, лоскутки из записной книжки, клочки воспоминаний, — словом, всякий необработанный, сырой материал. Конечно, во всем этом кажущемся хаосе есть (как и у Розанова) потаенный порядок, скрытая система. Эта нелитературность есть, в сущности, чисто литературный прием, имеющий целью создать впечатление повышенной искренности, безыскуственной, наивной откровенности.

Синтаксис — тоже Розановский: не книжный, а разговорный, — тот дерзкий, прихотливый, якобы неправильный синтаксис, который доступен лишь изощренному мастеру стиля. Многие части предложения опущены. Фразы испещрены скобками, кавычками, тире, которые призваны отметить разнообразные (часто капризные) оттенки словесных интонаций и жестов.

Замечательно, что в стихах Уота Уитмэна эта словесная мимика гораздо беднее, чем в его прозе. В стихах он монументален и потому несколько однообразен, а в прозе—бывает, что на пространстве одного предложения у него сменяется несколько душевных тонов. Оттого-то его прозу гораздо труднее переводить, чем его стихи: улавливать эти оттенки сменяющихся ду-

шевных тонов и запечатлевать на другом языке — задача почти невозможная. Боюсь, что, переводя прозу Уитмэна, я едва ли справился со своей задачей: фраза вышла слишком причесанной, язык беднее и элементарнее. Уитмэн часто создает неологизмы, он пишет: „эгоизмы“, „блески“ „эмерсонить“ и т. д. Эту особенность его словаря невозможно передать на чужом языке.

Впрочем, я главным образом переводил другие отрывки—те, которые по своему ритму приближаются к стихотворениям в прозе.

Вслед за этими отрывками печатается самое обширное из произведений Уота Уитмэна „Будущие пути демократии“. Американская критика ставит эту вещь очень высоко, хотя и не может решить, к какому литературному роду следует отнести ее. Порою она тяжела и хаотична, но порою в ней чувствуется такое парение широкого и вдохновенного ума, что она кажется столь же поэтическим созданием искусства, как любое из стихотворений Уота Уитмэна.

К. Ч.

В спальном вагоне

Какая дикая и странная услада — покоиться ночью в моем роскошном вагоне - дворце, прицепленном к мощному Болдвину [1]), этому воплощению быстрейшего бега, наполняющему меня движением и непобедимой энергией.

Поздно. Может быть, полночь. Может быть, позже Мы летим чрез Гаррисберг, Колэмбос, Индианополис. Магически сближаются дали. Чувство опасности радует. Вперед мы несемся, гремя и сверкая, бросая во тьму то трубные звуки, то ржание. Мимо человечьих жилищ, мимо коров и овинов, мимо молчаливых деревень! И самый вагон, этот спальный вагон, со спущенными занавесками и притушенным газом, и эти диваны со спящими, — среди них столько женщин и детей, — удивительно, что все почивают так крепко и сладко, когда мы молнией мчимся вперед и вперед — через ночь.

(Говорят, что в свое время француз Вольтер считал военный корабль и оперу самыми яркими символами победы искусства и человечности над первобытным варварством. Если бы этот острый философ жил в наше время здесь и мчался в этом спальном вагоне — лежа на прекрасной постели, пользуясь отличным столом, — из Нью-Йорка в Сан-Франциско, — может быть, он забыл бы об опере или о военном корабле и признал бы самым лучшим примером победы человечества над варварством — спальный американский вагон).

---

[1]) Машиностроительные заводы Болдвина в Филадельфии славятся своими паровозами. Особый тип паровоза называется по имени строителя „Болдвином".

Молчаливый генерал

28 сентября 1879 г.

Итак, генерал Грант об'ехал весь мир и снова вернулся домой. Вчера он прибыл в Сан-Франциско из Японии на пароходе „Токио". Что за человек! Какая жизнь! Вся его биография показывает, к чему способен любой из нас, любой американец [1]). Циники пожимают плечами: „Что люди находят в Гранте? Отчего вокруг него столько шуму?" По их словам, он человек некуль турный, не понимает искусств, несведущ в науках; никаких особых талантов у него не имеется, он решительно ничем не замечателен. Все это так. И, однако, жизнь этого человека показывает, как по воле случая, по капризу судьбы, заурядный западный фермер, простой механик и лодочник, может внезапно занять невероятно высокий, страшно ответственный пост, возбуждающий общую зависть, — возложить на себя такое тяжкое бремя власти, какого на памяти истории не знал никакой самодержец, и отлично пробиться сквозь все препоны, и с честью вести страну (и себя самого) много лет, — командовать миллионной армией, участвовать в пятидесяти (и даже больше) боях, управлять в течение восьми лет страною, которая обширнее всех европейских государств, взятых вместе, — а потом, отработав свой урок и уйдя на покой, безмятежно (с сигарой во рту) сделать променад по всему свету, побывать в его дворцах и салонах, у царей, королей, микадо — пройти сквозь все этикеты и пышнейшие блески так флегматично, спокойно, словно он гуляет в послеобеденный час в галлерее какой-нибудь Миссурийской гостиницы.

За это его и любят. Я тоже люблю его за это. По-моему, это превосходит Плутарха. Как обрадовались бы

[1]) Генерал Грант (1822 — 1885) — знаменитый американский пол ководец, доведший до победного конца войну за освобождение негров. Дважды был президентом Соединенных Штатов. В 1877 году уехал из Америки, посетил Европу, Индию, Китай, Японию. Вернулся в 1879 году.

ему древние греки. Простой, обыкновенный человек, — никакой поэзии, никакого искусства! — Только здравый практический смысл, готовность и способность работать, выполнить ту задачу, которая встала пред ним. Заурядный торговец, делатель денег, кожевник, фермер из Иллинойса — генерал республики, в эпоху ее страшной борьбы за свое бытие, во время междоусобной войны, когда страна чуть было не распалась на части, — а потом, во время мира — президент (этот мир был тяжелее войны!) — и ничего героического! — (как говорят авторитетные люди). И все же величайший герой. Кажется, что боги и судьбы сосредоточились в нем.

Наши именитые гости [1])

(Фрагмент)

... От имени всей американской Земли привет нашим именитым гостям. Такие визиты и гостеприимства, рукопожатия, встречи лицом к лицу, далекое, ставшее близким, являются залогом божественного слияния народов. Путешествия, разговоры друг с другом, взаимное ознакомление стран — все это на благо Демократии и высшего Закона.

О, если бы наша страна,— о если бы всякая страна в мире могла ежегодно, постоянно принимать у себя поэтов, мыслителей, ученых, — даже чиновных магнатов — всякой иной страны, в качестве почетных гостей! О, если бы в Соединенные Штаты — особенно Западные — приехал бы на долгое время, чтобы погостить побродить, изучить, — благородный и печальный Тургенев — или Виктор Гюго, или Томас Карлейл! Кастеляр, Теннисон, два или три парижских эссеиста, если бы мы встретились лицом к лицу — кто знает, возможно ли, чтобы нам не удалось ближе понять друг друга?

[1]) Каждый прославившийся на родине англичанин считал своим долгом совершить турне по Америке, прочитать там публичные лекции и, вернувшись домой, написать свои Американские впечатления. Вслед за Диккенсом посетил Америку Теккерей, потом Фрауд, потом Герберт Спенсер, Оскар Уайльд и др.— Кастеляр, упоминаемый здесь, — даровитый испанский историк (1832 — 99), много писавший об Америке. — Под парижскими эссеистами автор, очевидно, разумеет Ренана и Тэна.

Обыкновенная земля, почва

6 апр. 1877 г.

Земля — пусть другие малюют море и воздух (я пробовал тоже), но теперь моя тема — земля, обыкновенная земля под ногами. Тут она бурая (между зимой и весной, перед тем как покрыться зеленью), — по ночам дожди, — утром запах сырости, — красные черви выползают из почвы — мертвые листья, первые зачатки травы, — сокрытая жизнь в глубине, жаждущая пробиться наружу, начать что-то новое, — в защищенных местах небольшие цветы — дальняя озимь блестит изумрудом — а деревья голы, они еще не заслоняют просторов, которые летом будут не видны из-за листьев, — затвердела я, невспаханная новь — лошади гуськом волочат плуг, — дюжий парень свистом понукает их — и вот черная, жирная земля взборождена длинными, косыми полосками.

Книги Эмерсона (их темные стороны)

Я рассмотрю его книги с демократической, западной [1]) точки зрения. Я отмечу темные пятна и тени на этих залитых солнцем просторах. Кто-то выразился о героических душах, что там, где есть высокие вершины, неизбежны глубокие долины и пропасти. У меня неблагодарная задача: я хочу умолчать о вознесшихся в небо вершинах и залитых солнцем просторах, я буду говорить лишь о пятнах теней и голых пустынных местах. Я убежден, что никакой художник, никакое произведение искусства не может обойтись без них.

Итак, во-первых, не кажется ли вам, что страницы Эмерсона слишком хороши, слишком вылощены. (Ведь и хорошее масло — отличная вещь, и хороший сахар — отличная вещь, но всю жизнь не есть ничего, кроме

[1]) Западные Штаты Сев. Америки менее тронуты культурой, чем восточные; слово Запад в статьях Уота Уитмэна является синонимом воли и дикости.

сахара с маслом, — хотя бы самого первого сорта!) Автор постоянно говорит о воле, простоте и естественности, а между тем, у него каждая строчка зиждется на искусственных профессорских тонкостях, на всевозможных ученых церемониях. Это зовется у него культурой. Это тот фундамент, на котором он строит. Он делает, мастерит свои статьи; они не растут у него бессознательно. Это фаянсовые статуэтки, фигурки: фигурка льва, оленя, краснокожего охотника. Все они — грациозные, тонкой работы; поставить бы их на полке из мрамора (или красного дерева) в кабинете или гостиной! Статуэтка зверолова, но не зверолов. Да и кому нужен настоящий зверолов, настоящий лев? Что делать настоящему зверю среди портьер, изящных безделушек, джентльмэнов и дам, негромко беседующих об искусстве, о Лонгфелло и Роберте Броунинге? Только намекни им, что это подлинный бык, настоящий краснокожий, неподдельные явления Природы — все эти добрые люди в ужасе кинутся бежать, кто куда.

Эмерсон, по моему мнению, лучше всего проявляет свои дарования отнюдь не в качестве художника, поэта, учителя, хотя и в этом он весьма хорош. Главная его сила—критика, диагноз. Им управляет не страсть, не фантазия, не преданность какой-нибудь идее, не заблуждение, а холодный и бескровный интеллект. (О, я знаю, там есть и огни, и тревоги, и жаркая любовь, и эготизмы, и вечное глубокое пылание, как у всех уроженцев Новой Англии — но все это скрыто от взора за холодным и бесстрастным фасадом). Эмерсон никогда не бывает пристрастен, односторонен, как это случается со всеми поэтами, с самыми хорошими писателями; он видит все стороны, сочувствует всем. Под влиянием его произведений вы, в конце концов, перестаете благоговеть перед чем бы то ни было — и благоговеете лишь перед собой. Вы уже не верите ни во что—только в себя самого. Это хорошо, но лишь на время. Эти книги заполнят — и прекрасно заполнят—одну из эпох вашей жизни, одну из стадий вашего духовного развития — в этой роли они несказанно полезны (как для самого Эмерсона было в юности полезно богословие и те рели-

гиозные догматы, которые он проповедывал). Эти книги только этап. Но в час вашей старости или в час, когда у вас подняты нервы, или в самый торжественный час вашей жизни, или в час вашей смерти,—когда вы жаждете нежащих и укрепляющих воздействий бездонной Природы, когда вы ищете их в литературе или в человеческом обществе — разум, один только разум, как бы он ни был остер, покажется вам ни к чему, и эти книги будут вам не нужны.

Как философ, Эмерсон черезчур элегантен. Он требует благовоспитанных, тонких манер. Он как будто не знает, что наши манеры и нравы это те внешние признаки, по которым металлургист или химик отличают один металл от другого. Для хорошего химика все металлы равно хороши, а верхогляд, разделяющий предрассудки толпы, сочтет золото и серебро лучше всех. Так и для истинного художника те манеры, что зовутся дурными, может быть, наиболее живописны и ценны. Вообразите, что книги Эмерсона вошли в нашу плоть и кровь, стали основой, млечным соком американской души—какие бы мы сделались умытые, чистенькие, грамматически-правильные, но беспомощные и бескровные люди. Нет, нет, дорогой друг! хотя Штатам и нужны ученые, хотя, может быть, им также нужны такие джентльмэны и дамы, которые часто принимают ванну, никогда не смеются слишком громко, и не делают ошибок в разговоре,—но было бы ужасно, если бы мы все до единого превратились в этих джентльмэнов и дам. Штатам нужны и другие люди, другого сорта. Им нужны и хорошие фермеры, и моряки, и механики, и клерки, и просто обыватели, и деловые люди, и общественные деятели,—хорошие отцы и хорошие матери. Побольше бы нам этих людей—дородных, здоровых, благородных, любящих родину,—и пусть их глаголы не согласуются с их подлежащими, а их смех громыхает, как выстрел! Конечно, Америке мало и этого, но это главное, что ей нужно, и нужно в огромном количестве. И кажется, что Америка по интуиции, ощупью, бессознательно идет именно к этой цели—несмотря на все страшные ошибки и отклонения от прямого пути. Создание (по

примеру Европы) какого-то особого класса переутонченных, рафинированных людей (отрезанных от остального человечества) — дело отнюдь не плохое само по себе, но для Соединенных Штатов оно не подходит. В нем гибель для нашей американской идеи. К тому же Соединенные Штаты и не в силах создать такой особый специальный класс людей, который, по своему великолепию и духовной утонченности, мог бы состязаться или хотя сравниться с тем, что создано главнейшими европейскими нациями в былые времена и теперь. Нет, не в этом задача Америки. Создать огромный союз людей, обладающих огромным и разнообразным пространством земли — на западе, на востоке, на юге, на севере — создать, впервые в истории мира, великий, многоплеменный истинный Народ, достойный этого имени, состоящий из героических личностей, — вот ради чего существует Америка. Если эта цель осуществится, она в той же мере, если не вдвойне, будет результатом соответствующих демократических социальных учений, литератур и искусств, как и нашей демократической политики.

По временам мне казалось, что Эмерсон едва ли понимает, что такое истинная поэзия, в высшем значении этого слова — поэзия Библии, Гомера, Шекспира. В сущности, ему больше по нраву шлифованные сочетания слов, — или что-нибудь старинное, или занятное, например, стихи Уоллера „Ты, милая роза!“ или строки Ловеласа „К Локусте“ — затейливые причуды старых французских поэтов и т. д. Конечно, он восхищается силой, но восхищается ею, как джентльмэн, и в глубине души полагает, что все величайшие свойства поэтов и Бога должны быть всегда подчинены октавам, ловким приемам, бряцанию звуков, словам.

Вспоминая, что я когда-то, много лет тому назад подвергся (как и большинство молодежи) некоторому, хотя поверхностному и довольно позднему влиянию Эмерсона; что я набожно читал его книги и обращался к нему в печати, как к „Учителю“, и около месяца верил, что я вправду его ученик — я не испытываю никакого неприятного чувства. Напротив, я очень до-

волен. Я заметил, что большинство молодых людей, обладающих пылким умом, неизбежно проходит чрез это.

Главное достоинство Эмерсоновой доктрины заключается в том, что она порождает гиганта, который разрушает ее. Кто захочет быть чьим-нибудь учеником и последователем?—слышится чуть ли не на каждой странице. Никогда не было такого учителя, который предоставлял бы своим ученикам такую безграничную волю—идти самостоятельным путем. В этом отношении он истинный эволюционист.

Часы для души

(*Фрагмент*)

22 июля, 1878... Большая часть неба — словно только что покрыта большими брызгами фосфора. Взгляд проникает глубже и дальше, чем всегда. Звезды стоят так густо, как в поле колосья пшеницы. Не то, чтобы какая-нибудь из них, отдельная, была слишком ярка; в зимние морозные ночи звезды бывают острее, пронзительнее—но общее разлитое в небе сияние необычайно для взора, для чувств, для души. Особенно для души. (Я убежден, что в Природе есть часы,—в утреннем и вечернем воздухе—специально обращенные к душе. В этом отношении ночь превосходит все, что может сделать самый заносчивый день). В эту ночь, как никогда дотоле, небеса возвестили Господнюю славу. Это были небеса Библии, Аравии, пророков, небеса древнейших поэм. Там, в тишине, оторвавшись от всего земного (я ушел одиноко из дому, чтобы впитать в себя видимое, чтобы не разрушить этих чар)—и обилие, и отдаленность, и жизненность этого звездного свода, распростертого у меня над головой—все это понемногу влилось в меня, пропитало меня насквозь. Они так свободны, так бескрайно высоки, раскинулись к северу, к югу, к востоку и западу, а я маленькая точка, внизу, посередине, но все это множество я вмещаю и воплощаю в себе.

Как будто в первый раз вся вселенная бесшумно погрузила в меня свою несказанную мудрость, которая выше,—о, безгранично выше!—всего, что могут выразить наши книги, искусства, проповеди, древние и новые науки. Час души и религии—зримое свидетельство о Боге в пространстве и времени—явное и ясное, как никогда. Нам показывают неизреченные тайны. Все небо словно вымощено ими. Млечный путь—сверхчеловеческая симфония, ода Всемирного Хаоса, презревшая звуки и ритмы, огнезарный взор Божества, обращенный к душе. Тишина—неописуемая ночь и звезды.

Рассвет. 23 июля. Сегодня между часом и двумя пред восходом солнца, на том же фоне, происходило иное—иная красота, иной смысл.

Луна еще высока и ярка. В воздухе и в небе что-то цинически-ясное, девственно-хладное, Минéрво-подобное, нет уже ни лирики, ни тайны, ни экстаза, нет религиозного чувства. Многообразное Все, обращенное к одной душе, перестает существовать. Каждая звезда—сама по себе,—словно вырезанная,—отчетливо видна в бесцветном воздухе. Утро будет сладостно, прозрачно, свежо, но лишь для эстетического чувства. В его чистоте нет души. Я только что пытался описывать ночь, посягну ли на безоблачное утро? Какая неуловимая нить между рассветом и душой человеческой! Ночи похожи одна на другую и утра похожи одно на другое, но все же каждое утро особенное, и каждая ночь—иная.

Сначала огромная звезда невиданного великолепно-белого цвета, с двумя или тремя длинными лучами, которые, словно пики различной длины, сверкают в утреннем эфире алмазами. Час этого великолепия и—рассвет.

БУДУЩИЕ ПУТИ ДЕМОКРАТИИ

DEMOCRATIC VISTAS

1868 — 1870

. . . Америка наполняет современность величайшими делами и задачами. Она радостно приемлет былое — в том числе и феодализм (ибо разве наша современность не есть законнорожденный младенец былого, в том числе и феодализма?). Но все же, помоему, ее главное оправдание в будущем. Только в будущем может она уповать на успех (потому что — кто же посмеет теперь говорить об успехе?). И это не напрасная надежда. Уже и теперь, хоть и смутно, хоть и далеко впереди, мы видим новые гигантские побеги, здоровую, обильную поросль. То, что доселе было совершено Новым Светом, кажется мне менее значительным, по сравнению с тем, что ему предстоит совершить... Эти Штаты, одни во всем мире, предприняли труд воплотить в долговечные, конкретные формы, на пространствах, которые могут соперничать по своей широте с деяниями физического космоса, — те нравственно-политические идеалы прошедших веков, которые до сих пор еще не были воплощены никогда. Эти Штаты поставили себе определенной задачей ввести в жизнь демократические республиканские принципы и на опыте оправдать ту теорию, что личность, по своей собственной воле, может развиваться и расти, полагаясь лишь на себя самое. Какая другая страна, кроме наших Соединенных Штатов, посмела, на всем протяжении истории, принять все это с непоколебимою верою, основываться на этом во всех своих действиях и закрепить это для будущих веков?

. . . . [1])

[1]) Здесь эта статья Уота Уитмэна печатается в несколько сокращенном виде. Исключены публицистические отступления, имеющие местный, случайный, преходящий характер. Все принципиальное сохранено. В общей сложности сокращения составляют одну десятую всей статьи.

Две судьбы возможны для Америки. Либо ее история превзойдет и затмит пышную историю феодального мира, либо она потерпит грандиознейший, до сих пор еще невиданный крах. В ее материальном успехе я не сомневаюсь нисколько. Грядущее торжество ее торговли, промышленности, ее географического положения и производительных сил обеспечено ей в самых широких размерах. Здесь ждет ее необыкновенное множество самых разнообразных триумфов. В этом отношении она оставит далеко за собою (если еще не оставила) все республики, существовавшие доныне. В этом отношении у нее, во всем мире, не должно быть никаких соперников.

Я согласен, все это очень важно и ценно; я верю и в наши политические учреждения, и в право всеобщего голосования (я приветствую недавнее расширение избирательных прав!), но я утверждаю, что есть нечто ценнее и глубже, нечто такое, что одно может создать из Америки, из нашего западного континента, великую, непревзойденную нацию, превосходящую все страны, известные нам до настоящего времени. Это — мощные, неведомые до сих пор Литературы, это — совершенная личность, это — самобытный, трансцендентальный общественный строй. Все это должно выражать демократию и современность (ибо подлинное, высшее их выражение еще не обретено до сих пор). Отсюда вывожу я новую расу Учителей и совершенных Женщин, которые должны одарить нас будущим поколением Нового Света. Ибо хотя дух феодализма, дух каст, дух церковных традиций, и уходит постепенно из наших государственных учреждений, он все еще держит в рабстве, даже у нас, наиболее существенные области и даже самую подпочву воспитания, общественных идеалов и литературы.

Я утверждаю, что демократии никогда не спастись от обильных подозрений и злословия, пока она не найдет и не взрастит — обильно и роскошно — своих собственных форм искусства, поэзии, воспитания, богословия, пока она не заменит старое новым, отбрасывая то, что зародилось в былом, под иными, чуждыми

влияниями. Я никак не могу понять, почему столько перьев, умов, голосов в печати, на лекциях, в нашем Конгрессе проникновенно рассуждают о разных высоких материях, о финансовых опасностях, задачах законодательства, о выборах, о тарифах, о рабочем вопросе, о промышленных и благотворительных нуждах Америки, предлагая те или иные мероприятия и средства, порою чрезвычайно почтенные, в то время, как одна из самых вопиющих потребностей, один из величайших из'янов всей нашей жизни, остаются никем незамеченными, на них никто не указывает. Соединенным Штатам насущно необходимы сейчас писатели, создатели самобытной словесности, не имеющие ничего общего с теми, которые известны до сих пор, стоящие гораздо выше всех своих предшественников. Они должны быть в тесной связи с нынешними условиями американского быта и с будущими судьбами Америки. Это должен быть особый класс людей, набожно мыслящих, вполне современных, могущих встать в уровень со всеми нашими событиями и странами, охватывающих всю нашу интеллектуальную жизнь, все наши вкусы и верования, оживотворяющих нашу культуру новым дыханием, направляющих ее по истинным путям, и влияющих на нашу политику гораздо более, чем все голосования и выборы, выборы президентов, выборы в Конгресс и т. д.

Эти писатели должны породить, произвести нужных учителей, нужные школы, обычаи и, что важнее всего, создать религиозный и нравственный тип человека, на основе промышленной, политической и умственной жизни Америки (чего до сих пор не сделали ни школа, ни церковь, ни духовенство, и без чего государство не может существовать, как дом без фундамента).

Ибо разве ты не знаешь, мой дорогой и искренний читатель, что, хотя наш народ, может быть, умеет читать и писать, обладает избирательным правом, ему все же не хватает самого существенного. (Об этом-то я и пишу).

Ведь, если взглянуть широко, с достаточно высокого пункта, во всем цивилизованном мире проблема

человечества стала социальной и религиозной проблемой; именно в такой форме эта проблема может быть воспринята только литературой. Священник уходит, приходит божественный автор.

Никогда ни в чем так не нуждались и не нуждаются Штаты, как в новом поэте, новом великом таланте. Во все времена у всех народов главным стержнем, вокруг которого вращалась вся жизнь народа, которым эта жизнь держалась и благодаря которому данный народ влиял на другие народы — была Литература, главным образом — национальная Поэзия, создающая прообразы величия. В Америке больше, чем в других странах, великая самобытная литература должна сделаться оправданием и надеждой (в некотором отношении единственной надеждой) демократии.

Многим неясно, как может литература проникать собою все, давать всему свою окраску и как неприметно, по собственной прихоти, она создает, поддерживает и разрушает все, что угодно. Почему в прошлом два маленьких государства возвышаются, как прекрасные гигантские колонны, над всеми народами земли? В двух, трех поэмах живет бессмертная Иудея [1]) и бессмертная Греция. И даже больше: весь облик, вся общественная, политическая и религиозная жизнь этих замечательных государств целиком отразились в их литературе, в их эстетике. Главным основанием европейского рыцарства, европейского феодального, церковного и династического государства, его костяком, скелетом была литература. Она сохраняла это государство сотни и тысячи лет, она блюла его силу и цвет, придавала ему определенную форму, она пропитала собою все естество государства и особенно, благодаря очаровательным песням, балладам, поэмам, так сильно всосалась в верования, в чувства и вдохновения людей, что это государство живет по сей день, сопротивляясь мощному натиску превратных времен.

В мировой истории более всего бросаются в глаза и воспринимаются внешними чувствами возникновения

[1]) В подлиннике: „бессмертный Иуда", immortal Judah.

и падения династий, войны, переменчивые судьбы торговли, важные изобретения, мореплавание, военные и гражданские власти, появление сильных личностей, завоевателей и т. д. Несомненно, это имеет значение, но все же одна новая мысль, одна фантазия, один отвлеченный принцип, даже литературный стиль, соответствующий данному времени, введенный в жизнь каким-нибудь из великих писателей и получивший распространение среди человечества, могут произвести постепенно различные перемены и сдвиги, и породить много нового, не хуже самой длительной кровопролитной войны, не хуже любого политического, династического или промышленного переворота.

Вспомним, что малая горсть великих поэтов, писателей и мудрецов заложила основание для религии, воспитания, законодательства и общественной жизни всего цивилизованного мира, по сей день окрашивая и часто создавая атмосферу, из которой эти явления возникли. На этом же должно быть основано внутреннее демократическое строительство Америки.

Этого еще не понимают, но нет никакого сомнения, что это именно так.

В древности и в средние века величайшие, высшие идеи выражались в других искусствах ярче, чем в литературе (которая часто была недоступна не только для масс, но и для отдельных личностей). В наше время, для наших нынешних нужд, напротив, именно литература стала предпочтительнее всех других видов искусства и сделалась единственным способом оказывать нравственное влияние на весь мир. Мне кажется, что живопись, скульптура и драма не могут больше играть главной и даже хоть сколько-нибудь существенной роли в области практической, интеллектуальной работы и эстетики, в деле общения идей. Другое дело архитектура и музыка. Архитектура, без сомнения, имеет за собою реальное будущее, так как оставляет за собой эту роль. И музыка, эта богиня, но — земная, музыка, сочетавшая в одинаковой мере и духовность и чувственность, увеличивает с каждым днем свою власть и становится на первое место, так

как она удовлетворяет потребности, которые не в силах удовлетворить никакое другое искусство. И все же в нашей цивилизации литература господствует над всеми другими искусствами, более всех других влияет, или, вернее, способна влиять на школу и на церковь. Если же принять во внимание литературу научную, то можно смело сказать, что противустоять ее влиянию не может ничто.

Но, прежде чем следовать дальше, уговоримся о нескольких пунктах. Литература собирает свою жатву на многих полях, иные поля колосятся, иные отцвели. Все, что я говорю в моих „Будущих Путях Демократии“ о литературе, относится, главным образом, к литературе художественной и первее всего — к поэзии.

В области наук и журнализма Америка не внушает тревог. Напротив, мы имеем основание надеяться, что эта литература будет и серьезна, и насущно полезна, и жизненна. Но в области литературы художественной, требуется нечто такое, что равносильно сотворению мира. Политические мероприятия, избирательные права и законодательство не могут одни поддерживать и создавать прочный скелет в организме новой демократии. Ясно, что, пока демократия не займет в человеческих сердцах, в чувстве и в вере, такого же прочного, надежного места, как феодализм или церковь, пока у нее не будет своих собственных священных источников, — ее силы будут слабы, ее рост сомнителен. Она будет лишена главного очарования. И поэтому два-три подлинно самобытных американских поэта (или два-три живописца или два-три оратора), поднявшиеся над горизонтом, подобно планетам или звездам первой величины, могли бы примирить в себе расовые и местные особенности и придать Штатам больше сплоченности, больше нравственного единства и цельности, чем все конституции, законодательства, политические, военные и промышленные мероприятия, взятые вместе. У каждого Штата особая история, особый климат, особые города, особый жизненный уклад; потому-то им и необходимы *общие* типы, *общие* герои, *общие* успехи и неудачи, *общая* слава и *общие* невзгоды.

И не менее, а более, гораздо более, им нужно созвездие могучих писателей, художников, учителей, способных стать выразителями всей нашей нации, того, что есть общего и самобытного у всей нашей страны, у севера и юга, и у прибрежной полосы, и у центра. Это общее они должны посеять для всех мужчин и женщин наших Штатов.

По словам историков, отдельные области, города и государства древней Греции вечно враждовали меж собой и об'единились, увы, лишь тогда, когда их покорили чужеземцы.

Конечно, Америке никакой завоеватель не грозит, и такого об'единения ей, к счастью, ожидать не приходится, но все же меня постоянно пугает мысль о наших внутренних распрях, о том, что у нас нет общего скелета, связывающего Штаты воедино. А если его еще нет, ясно, что он нужнее всего, что всем нашим Штатам необходимо в ближайшем же будущем слиться на долгое время в прочном единстве, в единстве нравственном и художественном.

Я утверждаю, что в минуты общей опасности,— естественным об'единителем Штатов станет отнюдь не закон (как обычно полагают у нас), не личный интерес каждого, не общность денег и материальных богатств, а горячая, великая и д е я, легко расплавляющая все своим сокрушительным жаром и сливающая все оттенки различий в одну единственную безграничную, духовную эмоциональную силу.

Мне могут заметить (считаю такое замечание вполне основательным), что самое главное, это—всеобщее всемирное благоденствие, зажиточность масс, сопутствуемая житейским комфортом, что это главное, и ничего другого не надо. Мне станут доказывать, что наша республика, превращая дикие степи в плодородные фермы, проводя железные дороги, строя корабли и машины, создает величайшие произведения искусства, величайшие поэмы и т. д. И в самом деле, возможен вопрос: не важнее ли эти корабли, машины и фермы, чем вещания и откровения великих рапсодов, художников, авторов?

О, я с гордостью и радостью приветствую и корабли, и машины, и фермы, но, воздав им должную дань восхищения, повторяю опять, что, по моему, душа человеческая не может удовлетвориться лишь ими. Она требует себе иного, высшего, того, чему все эти вещи служат, она стремится лишь к себе самой.

Возникает громадный вопрос о том, какая же американская индивидуальная личность, выявленная в литературе и искусстве, отразит общие национальные черты и тем послужит взаимному общению всех. Обычно столь проницательные американские мыслители либо оказывали этому вопросу весьма мало внимания, либо совсем не замечали его, словно погруженные в сон.

Мне хотелось бы, по мере возможности, разбудить и предостеречь даже политика, даже дельца против того господствующего заблуждения, будто бы политическая свобода, умственная бойкость и ловкость, благоустроенный общий порядок, материальный достаток и промышленность (сколь ни ценны они сами по себе), могут обеспечить успех нашему демократическому делу. В полной мере (или почти в полной мере) владея всеми этими благами, Штаты победоносно вышли из борьбы с самым страшным изо всех врагов, (врагом, пребывающим в их собственных недрах [1]). И тем не менее, при беспримерном материальном прогрессе, общество в Штатах испорчено, развращено, полно грубых суеверий и гнило. Таковы чиновники, политики, таковы и частные люди. Во всех слоях нашего общества совершенно отсутствует или недоразвит и серьезно ослаблен важнейший элемент всякой личности и всякого государства: совесть.

Я полагаю, что настала пора взглянуть на нашу страну и на нашу эпоху испытующим взглядом, как смотрит врач, определяя глубоко скрытую болезнь. Никогда еще сердца не были так опустошены, как теперь, здесь у нас, в Соединенных Штатах. Кажется,

[1]) Война северных Штатов с южными за освобождение негров.

истинная вера совершенно покинула нас. Нет веры в основные принципы нашей страны, не смотря на весь лихорадочный пыл и мелодраматические взвизгивания, нет веры даже в человечество.

Чего только не обнаруживает проницательный взгляд под личиной. Ужасное зрелище. Мы живем в сплошной атмосфере лицемерия. Мужчины не верят женщинам, женщины не верят мужчинам. Презрительная ирония господствует в литературе. Цель всех литераторов — найти предмет для насмешек. Бесконечное количество сект, церквей и т. д., самые мрачные призраки изо всех, какие я знаю, присвоили себе название религии. Наши разговоры — одна болтовня, зубоскальство. От обмана в духе — отца всех фальшивых поступков — произошло неисчислимое потомство.

Один неглупый, откровенный человек, из департамента сборов в Вашингтоне, об'езжающий, по обязанностям службы, города севера, юга и запада для расследования злоупотреблений, говорил мне о своих наблюдениях.

Испорченность делового класса неизмеримо больше, чем принято думать. Общественные учреждения Америки во всех ведомствах, кроме судебного, из'едены взяточничеством, лживостью и злоупотреблениями. Суд начинает заражаться тем же. Большие города полны скрытого или официально-признанного грабежа и мошенничества. В высшем свете царит легкомыслие, тепленькая любовь, легкие измены, незначительные запросы или просто стремление убить время [1]). Для дел (всепожирающее новое слово—дела), по общему признанию, существует одна только цель — денежная нажива. В сказке волшебный змей кудесника пожрал некогда всех других змеев. Нажива — вот змей наших нынешних магов, вот наш повелитель.

Чем мы можем похвастаться? Что такое наше высшее общество? Толпа изысканно-одетых спекулянтов и вульгарных людей. Правда, на подмостках, где идет этот

---

[1]) Не нужно забывать, что сказанное здесь, относится к давнопрошедшим временам. *Перев.*

фантастический фарс, там, за кулисами, во тьме, подготовляются великие события, которые рано или поздно, когда наступит их срок, выйдут из-за кулис на авансцену, но действительность всетаки ужасна: я утверждаю, что, хотя демократия достигла великих успехов в деле извлечения масс из болота, в котором они погрязли, в деле материального развития, в деле обманчивой, поверхностной популяризации знаний, она терпела до сих пор полную неудачу в социальном строительстве и в своих религиозных, нравственных и литературных проявлениях: напрасно приближаемся мы небывало-большими шагами к тому, чтобы стать колоссальнейшим государством в мире, превзойти все древние монархии, оставить за собой империю Александра и гордую Римскую Империю. Напрасно присоединили мы Техас, Калифорнию, Аляску и достигли пределов Канады на севере и пределов Кубы на юге; мы стали похожи на существо, одаренное громадным, хорошо приспособленным и все более развивающимся телом,— но почти лишенное души.

В качестве иллюстрации к сказанному приведу несколько беглых наблюдений, набросков, с конкретными изображениями местностей. Моя тема так значительна, что я не боюсь повторяться.

После некоторого отсутствия, я снова (сентябрь 1870 г.) в Нью-Йорке и в Бруклине. Я поселился здесь на несколько недель. Великолепие и живописность этих двух городов, их океаноподобный простор и шум, ни с чем не сравнимое их местоположение, новые высокие здания, реки и бухта, сверкание морского прилива, фасады из железа и мрамора, развевающиеся флаги, бесчисленные корабли, шумные улицы, Бродуэй, тяжелый, глухой, музыкальный, не смолкающий и ночью гул, маклерские конторы, богатые магазины, пристани, обширный Центральный парк и холмистый Бруклинский парк. Я брожу среди этих холмов, в великолепные осенние дни, размышляя, вникая, впитывая в себя впечатления толпы горожан, разговоры, куплю-продажу, вечерние развлечения, пригороды, — все это вполне на-

сыщает меня ощущениями мощи, избытка жизненных сил и движения, возбуждает во мне непрерывный восторг и вполне удовлетворяет мои аппетиты и мои эстетические требования. Особенно, когда я переправляюсь на пароме через северную или восточную реку, или провожу время с лоцманами в их прибрежных лачугах, когда я толкаюсь на Уолл-Стрите [1]) на денежной бирже (да позволено мне будет признаться в моих личных пристрастиях), я чувствую все больше и больше, что не одна только Природа величественна своими полями, просторами, бурями, пышностью дней и ночей, горами, лесами и т. д. Творчество и искусство человека может быть так же великолепно разнообразием своих хитроумных изобретений, улиц, товаров, кораблей; великолепны спешащие, лихорадочные, наэлектризованные толпы людей в проявлении своего коллективного промышленно-делового гения (отнюдь не худшего гения среди всех остальных), величаво могущество тех неисчислимых многообразных богатств, которые сосредоточены здесь.

Но весь этот блеск — на поверхности. Отвернемся от этой наружной красивости и всмотримся в то, что, единственное, имеет значение, всмотримся в человеческую личность. Внимательно изучая ее, мы невольно задаемся вопросом: существуют ли на самом деле мужчины, достойные этого имени? Существуют ли атлеты? Где совершенные женщины, которые были бы подстать материальному нашему преуспеянию? Окружает ли нас атмосфера прекрасного быта? Где прекрасные юноши и почтенные старцы? Существует ли искусство, достойное нашей свободы, достойное богатого народа? Существует ли культура нравственная и религиозная, единственное оправдание большой материальной культуры? Признайтесь, что для строгого глаза, смотрящего на человечество сквозь нравственный микроскоп, все эти города, кишащие ничтожными гротесками, калеками, бессмысленно кривляющимися шутами и уродами,

---

1) Уолл-Стрит (Wall Street)—улица в Нью-Йорке, где помещается здание биржи.

представляются какой-то безрадостной Сахарой. В лавках, на улицах, в церквах, в пивных, в присутственных местах — всюду легкомыслие, пошлость, лукавство и ложь; всюду фатоватая, хилая, чванная, преждевременно созревшая юность; всюду чрезмерная похоть, нездоровые тела, мужские, женские, подкрашенные, подмалеванные, в шиньонах, грязный цвет лица, испорченная кровь; способность к материнству прекращается или уже прекратилась, вульгарные понятия о красоте, низменные нравы или, вернее, полное отсутствие нравов, какого, пожалуй, не найти во всем мире.

Чтобы снова вдохнуть в эту плачевную жизнь здоровый, героический дух, нужна новая литература, не только отражающая поверхность нашего бытия, не только приноравливающаяся к тому, что называется вкусом, не только воспевающая одно лишь прекрасное и утонченное, не только выставляющая на показ свою шикарную технику или ловкую ритмику или грамматику, — нужна литература, изображающая то, что под спудом, проникнутая религией и наукой, могуче и умело справляющаяся со стихиями и силами жизни, поучающая и воспитывающая людей, способная достигнуть самого ценного результата — освободить женщину из клешней ограниченности, глупости, моды и всяких диспептических опустошений души, нужна литература, могущая создать для Штатов сильное, прекрасное племя совершенных матерей.

Наша политическая демократия — есть основание будущей литературы, будущего творчества. Посмотрим же беглым задушевным взглядом, в чем заключается ее естество и как она возникла. Конечно, мы скоро увидим, что эта идея находится в постоянном разладе с другой — с идеей индивидуализма, обособленной личности. Но, ведь, только благодаря демократии, когда она могуча и цветуща, бывает обеспечен простор для отдельной личности, для индивидуализма. Демократия и личность — два противоположных явления, но мы должны согласовать их, примирить. Демократия понемногу вытесняет прежнюю церковную, схоластическую

веру в необходимость абсолютной династической власти, как единственного оплота против хаоса, преступлений и невежества; конечная ее цель заключается в том, чтобы, не обращая внимания ни на какие отклонения в сторону, ни на какие насмешки, нападки и неудачи, доказать, путем практического воплощения в жизни, теорию о человеческой личности, утверждающую, что воспитанный в духе истинной свободы человек не только может, но должен стать единственным законом для себя самого, укрепляя власть над собой и по отношению к другим индивидам в государстве. В истории народов прочие системы были в свое время нужны и полезны, эта система является единственной, достойной того, чтоб осуществлять ее, исходить из нее, при том порядке вещей, который существует в нашем цивилизованном мире. Эта система незыблема и подобна законам Природы.

Казалось бы, что демократия в политическом смысле должна подготовлять почву для демократии вообще. И тем не менее у нас найдется мало людей, понимающих смысл фразы, унаследованной нами от Авраама Линкольна: „Управление Народа Народом для Народа". Эта формула с первого взгляда кажется наивной игрой слов, а между тем, в ней остроумно изложены сущность и детали всего учения.

Народ! Он, как сама земля, при обычном упоминании, кажется полным грубых противоречий и, при общем взгляде на него, стоит вечной загадкой и вечным оскорблением для мало-мальски образованных классов. Только редкий космический ум художника, озаренный бесконечностью, может постигнуть многообразные, океанические свойства народа, а вкус, образованность и, так называемая. культура всегда были и будут его врагами.

Ярко были позолочены самые гнусные пороки и свинские мерзости феодального и династического мира, представители которого — короли и принцессы, и двор — были так изящно одеты и блистали красивой наружностью. А народ был неграмотен, грязен, и дети у него плохо вскормленные.

Литература, в узком смысле этого слова, никогда не признавала Народа и, что бы ни говорили, не признает его и сейчас. До сих пор она только стремилась создать наиболее сварливых, ни во что не верящих людей. Кажется, будто существует какая-то вечная взаимная вражда между жизнью литературы и грубым, сильным духом демократии. Правда, в позднейшей литературе назрело милостивое, благосклонное отношение к народу, но даже у нас редко встречается должная научная оценка и уважительное понимание скрытых в нем безмерных богатств и громадности его сил и способностей, присущих ему художественных контрастов света и тени. В Америке с этим соединяется — в минуты опасности — полная вера в себя, в свое счастье, и величавый исторический размах — во время войны или мира, — какого не найдешь во всем свете, не найдешь у хваленых книжных героев и у людей хорошего тона.

Весь ход недавней войны за освобождение и результат ее показывают любому, хорошо изучившему и понимающему ее человеку, что демократия, со всеми ее недостатками и вредоносными силами, в действительности, оказалась превыше наиболее горделивых заявлений и самых пламенных надежд ее энтузиастов.

Быть может, будущие века не узнают того, что известно мне, что эту отчаяннейшую и жесточайшую войну вынес на своих плечах исключительно безымянный, безвестный, простой рядовой, и что вся тягота его смертного подвига была добровольна.

Народ сражался по собственному желанию, умирал за свою собственную идею, бился с рабовладельцами, нагло атаковавшими его и вызвавшими раскол в наших Штатах; он совершил этой подвиг, ибо чувствовал, что самое его существование в опасности.

Мы видели, с каким пылом простой американский люд, самый миролюбивый и самый добродушный во всем мире, самый независимый и развитой, менее всего способный подчиняться тяжелой, железной военной дисциплине, при первых же звуках барабана схватился

за оружие, схватился не для выгоды, не ради славы, а из-за символа, из-за абстракции — ради безопасности знамени. Мы видели ни с чем несравнимую покорность и послушание солдат. Мы видели, каким отчаянным испытаниям дурного управления и поражений они подвергались. Они беспрекословно повиновались приказам к наступлению среди самого ужасного кровопролития (например, в начале войны, в Фредериксбэрге, и потом в „Пустыне“). Мы видели их в окопах, за брустверами; видели, как они совершают походы в невылазной грязи, под ливнем или снегом; мы могли наблюдать за ними во время форсированных маршей в летний зной (например, на пути в Геттисбург). Огромная, задыхающаяся от жары толпа корпусов и дивизий, люди почернели от пота и пыли так, что родная мать не могла бы признать их: грязная одежда в лохмотьях, густой, кислый запах пота, люди падают и умирают у дороги от усталости и от солнечного удара. И всетаки эта масса неунывающих людей, с подтянутыми от голода животами, сильна своей несокрушимой решимостью.

Мы видели, как этот же народ подвергался еще более жестоким испытаниям: раны, ампутации, раздробленные лица, изуродованные руки и ноги, длительная лихорадка, долгое мучительное пленение в постели, кромсания живого тела, операции, калечества всякого рода. Молодая Америка была, увы, вся перенесена в лазарет. Там мы видели этих солдат, часто мальчиков, и отмечали их доблесть, религиозность, кротость. Их было много, ибо и на фронте, и на бивуаках в бесчисленных палатках развернулись полковые, бригадные и дивизионные лазареты. И везде, по всей стране, по городам и вокруг городов выростали просторные, выбеленные, одноэтажные, деревянные, быстро наполняющиеся бараки. Жестокая агония страдания царствовала там. Но редко можно было услышать крик или стон. Смерть бродила там в узких проходах между рядами коек и между одеял, разостланнных на полу, и многие несчастные страдальцы благословляли ее легкое прикосновение. Не знаю, буду ли я понят, но мне ясно, что лишь личное участие в таких эпизодах

окончательно открыло мне то, что я набрасываю на этих страницах. Однажды ночью, в самый тяжелый период войны, в госпитале Патентного Бюро в Вашингтоне, я стоял у кровати раненного пенсильванского солдата. Он был совершенно спокоен, хотя и чувствовал приближение смерти. И старый хирург с одухотворенным благородным лицом, отведя меня в сторону, сказал мне, что, сколько он ни видел солдатских смертей под Булл-Рэном, Антиэтеме. Фредериксбэрге, он не помнил ни одного случая, когда умирающий встречал бы свою кончину с трепетным беспокойством или ужасом. Мои наблюдения подтверждают его слова.

Разве это не лучшее оправдание демократии в ее отдельных представителях? Любопытно, что южные солдаты оказались так же хороши, как и северные: хотя я говорю лишь о северных, но включаю всех, — вполне охотно. Великолепный средний, рядовой человек! Мне не нужно других залогов и знамений его будущих великих судеб. В присутствии человека, побывавшего в больших военных госпиталях, никто не посмеет презрительно отозваться об американском народе.

И тем не менее человечество вообще (возвратимся к нему и будем помнить, что оно такое) всегда было полно самых опасных злобных извращений и остается таким. В часы уныния кажется, что человечество всегда таким и останется. Но эти мысли легко исчезают. Я сам достаточно ясно вижу грубые и порочные наклонности во всех слоях простого народа. Я знаю отдельные случаи и примеры невежества, глупости, суеверия, неспособности, низости, убожества. Названный мною известный писатель [1]) иронически спрашивает, не надеемся ли мы улучшить и упрочить стиль нашей национальной политики, поглощая такие неприглядные слои с такими неприглядными свойствами. Это страшный вопрос и, может быть, найдется несколько серьезных и вдумчивых граждан, которые не пожелают оставить его без ответа. Наш ответ носит общий характер и заключается в духе

[1]) Томас Карлейль.

и букве этой статьи. Мы уверены, что конечная цель политического и всякого иного государства, после того как установилась полицейская власть, законы, обеспечивающие безопасность, охрану имущества, установление основных законов и обычного права и т. д., — должна заключаться не только в управлении, подавлении беспорядков и т. д. но и в развитии народной культуры и в поощрении тех задатков мужества, независимости, гордости и самоуважения, которые скрыты в характере каждого человека. (А если и бывают исключения, то нельзя же считать их правилами).

Я утверждаю, что в цивилизованных странах правительство должно держаться не только властью закона, не только авторитетом лучших людей, писателей, народных героев, полководцев, к которым чувствует такое пристрастие упомянутый выше знаменитый писатель — (как будто эти лучшие люди когда-либо, хотя бы в одном случае на сто, выдвигаются на первые места по избранию или династическим путем). Нет, задача государства выше самого высокого идеала всякой случайной власти: не только обуздывать, но и воспитывать общество во всех его стадиях, начиная отдельными лицами и кончая ими же, при чем конечная цель этого воспитания заключается в том, чтобы люди сами могли управлять собою.

В области нравственно-духовной Христос показал человечеству существование абсолютного духа в каждом отдельном человеке; этот абсолютный дух трансцедентен. Он не допускает никаких градаций (подобно жизни) и, благодаря этому, равняет всех, несмотря на различия ума, добродетели, положения, высокого или низкого звания и т. д. Все это и в данной области утверждает власть демократии, для которой люди и нации имеют одинаковое право быть самостоятельными и законченными суб'ектами свободы, земного благополучия и счастья; поэтому они должны быть поставлены при политической оценке в деле выборов и голосования на одно широкое, общее для всех основание.

Цель не вполне прямая. Может быть, более косвенная. Ибо демократия сама по себе еще не имеет ис-

черпывающего значения. Может быть, как и Природа она вовсе не имеет этого значения сама по себе. Как видим, она лучшая и даже единственная руководительница, способная формулировать нужное, общая проявительница, тренировщица для миллионов людей, не только для смертных личностей, но и для бессмертных душ.

Быть избирателем, голосовать вместе со всеми другими, это еще не так много. И у этого института, как у всякого другого, существуют свои недостатки. Но сделаться свободным человеком и безо всяких препятствий, без унижений, стать на один уровень с другими, начать тот опыт (требующий нескольких поколений), который может закончиться созданием завершившего свой рост человека — это уже кое что. Устойчивость государства может быть обеспечена (особенно в наше время) только таким путем. Мы не говорим (по крайней мере, я не говорю), что массы, даже лучшие из них, в скрытых или явных своих формах, очень умны или добры; мы удовлетворяемся чисто научным понятием свободы, холодной, как лед, рассудочной, дедуктивной, прозрачной и бесстрастной, как кристалл.

Демократия есть также закон — и притом строжайший, всеоб'емлющий. Многие думают (эта ошибка распространена в рядах самой демократии), будто демократия означает ниспровержение законов и бунт, — нет! Она сама есть высший закон не только физической силы, плоти, но и добавленный к нему и заменяющий его закон духа. Закон есть навеки нерушимый порядок вселенной, и самый высший закон, закон всех законов, есть закон постепенности, смены одного несовершенного закона другим, более совершенным.

Нельзя удовлетвориться и одной только эстетической точкой зрения. Как бы значительна она ни была, ее обаяние существует только для стремящейся к высшим целям души, обычное же простое честолюбие стремится к более высокому положению, чтобы получить какие-нибудь привилегии, выделяющие человека из толпы. Истинный вождь видит величие в здоровом слиянии с массой, ибо что может быть лучше, чем

общая почва? Ты хочешь проникнуться общим, всеоб'емлющим божественным законом? Слейся с массой. Пусть она поглотит тебя.

И самое прекрасное в демократии то, что она соединяет (и вечно стремится соединить) все нации, всех людей, в каких бы разрозненных и отдаленных местах они ни жили, в одно братство, в одну семью. Это старая и вечно-новая мечта земли, ее старейших и новейших обитателей, ее излюбленных мудрецов и поэтов. В мире есть не только индивидуализм, раз'единяющий людей. Это лишь половина. Есть и другая половина, связывающая, любовно сливающая. Она скрепляет, сочетает народы и делает их братьями-товарищами. Обе они должны быть оживотворены религией (только религия может достойным образом возвысить человека или государство). Только религия вдохнет дыхание жизни в великолепную материю тканей тела. Ибо, повторяю, основа демократии, в конце концов, религия. В демократии заключены все религии, и новые и старые. И покуда не созреет этот духовный, самый лучший, самый поздний плод демократии, вся ее сияющая красотою система не сможет ни развиться, ни господствовать.

Некоторые наши страницы мы могли бы посвятить Европе; они больше относятся к ней, особенно к британской ее части, нежели к нашей стране, и нашему читателю они не так безусловно нужны. Но весь вопрос, в его целом, касается одинаково всех народов, связывает их воедино, скрепляет, сцепляет их. Современный либерализм имеет то преимущество над древним или средневековым, что его доктрины стремятся не только к индивидуализации, но и к универсализму. Возникло великое слово — Солидарность. При существующем порядке вещей, самое опасное для нации — иметь в своих недрах некоторое число людей, отделенных от всех остальных особой чертой, за пределами которой люди лишены тех прав, которыми обладают другие, унижены, обижены, не идут в счет. Конечно, и у демократии много из'янов, но эти из'яны

не относятся к планетарному ее естеству. Демократия существует для того, чтобы, если можно так выразиться, воплотить и оправдать Бога и его божественный аггрегат — Народ (или, как истерически заявляют иные — воплотить и оправдать Дьявола, рогатого, с острым хвостом). К этому стремится Демократия, к этому стремится Америка; это она осуществляет теперь и, кажется, осуществила уже. Если это не так, значит, у нее вообще нет никаких самобытных задач, значит — она вообще ничего не осуществляет, во всяком случае, не больше, чем всякая другая страна. Как желудок Природы, в силу своих косметических антисептических свойств, обладает достаточной мощью, чтобы не только справиться со смертоносными ядами, постоянно доставляемыми в качестве пищи, от которой он не может отказаться и к которым инстинктивно тяготеет, но и превратить эти яды в питательные вещества для высших потребностей жизни, так и демократия Америки. Поистине, какие бы отвлеченные доводы ни принять против теории более широкой демократизации учреждений любой цивилизованной страны, но Европейские страны предотвратили бы много волнений, согласившись с очевидным фактом (а этот факт очевиден), что лишь та или иная форма демократизации может спасти их от гибели. Это было бы единственное верное средство. Либо это, либо вечное недовольство, вечный ропот, год от году громче, пока своим чередом не наступит — и притом очень скоро — неизбежный кризис, крах и династическое банкротство.

Я сказал бы, что в Старом Свете, в среде передовых, ученых и умных людей, все сколько-нибудь государственно-мыслящие люди уже говорят не о том, цепляться ли за прежнюю монархию, или итти вперед за демократией, а о том, как и в какой мере они могли бы наиболее благоразумно демократизироваться.

Резкие и часто непродуманные призывы реформаторов и революционеров необходимы в противовес инертности и допотопной закоснелости большей части человеческих учреждений. Наши учреждения всегда сумеют

постоять за себя; опасность заключается в том, что они стремятся окостенить нас. А к энтузиастам надлежит отнестись снисходительно, они достойны всяческого уважения. Медленно, но верно, добродетель, доброта, закон (лучший из лучших) идут вослед за свободой. Для демократии они то же самое, что киль для корабля или соль для океана.

Точка тяготения либеральных доктрин в Соединенных Штатах — общность владения, собственности, земли, домов, всеобщее благополучие и широкое, переплетающееся, подобно сети, распределение ценностей.

Как человеческое тело или вообще всякое тело, всякий предмет в этой многообразной вселенной крепче всего сдерживается в своих формах незатейливым чудом сцепления частиц, постоянное проявление которого столь необходимо и полезно, так и великая многообразная нация, занимающая миллионы квадратных миль, крепла и превращалась в единое целое, благодаря принципу неприкосновенности и выносливости средних земельных собственников.

Вследствие этого, каким бы парадоксом это ни казалось, демократия смотрит подозрительно и с неудовольствием на людей бедных, невежественных и праздных. Ей нужны люди с определенной работой, зажиточные, владеющие домами и землей, имеющие деньги в банке, не чуждые литературных потребностей; таких людей она должна иметь и она спешит их создать. К счастью, это семя было посеяно хорошо и пустило крепкие корни [1]).

Грандиозны и могучи наши дни, наши республиканские страны, — все они несутся куда-то, изменяются каждый миг на пользу той же будущей демократии.

[1]) Во избежание недоразумения, тороплюсь определенно указать, что я с радостью вношу в этот проект будущей образцовой демократии черты практичности, деловитости, инициативы, тяготения к деньгам и даже материализма. Нельзя отрицать, что наши фермы, склады, конторы, уголь, бакалея, сукно, инженерное дело, счетоводство, всевозможные ремесла, заработки, рынки и т. д. требуют, чтобы им отдались всей душой, так беззаветно, как будто они высшая и вечная реальность. Я отчетливо вижу, что чрезвычайная деловая энергия и



Пока я пишу эти строки (ноябрь 1868 года) вокруг меня шумит жестокий спор. Спорящие настроены бурно, вопрос решается насущный и жизненный. Созывают Конгресс; президент делает правительственное сообщение: реформы еще не кончены, борьба за кандидатуру и выборы 21-го президента подвигаются с громкими угрозами и суетой. Я не знаю, чем разрешатся эти споры, но, чем бы они ни разрешились, я знаю, что все жизненно-нужное будет сохранено, и необходимая работа совершится своим чередом

Рано или поздно время, со своей обычной надменностью, распорядится президентами, членами конгресса и партийными платформами по-своему.

То и дело смертный, считающий себя на высоте могущества, неожиданно сходит со сцены. Время швыряет былых властелинов одного за другим (делая драгоценные, золотые исключения раз или два в столетие) гнить в погребальном склепе, и сразу о них перестают вспоминать. Но Народ остается навеки, его стремления не умирают, непрерывная цепь идей переходит от эпохи к эпохе.

Через несколько лет сердце Америки переместится вглубь страны, ближе к западу. Наша будущая национальная столица не может находиться там, где она находится сейчас. Весьма вероятно, что меньше, чем через полвека, она переместится на тысячу или две тысячи миль и будет заново основана по новому, оригинальному, более великолепному плану.

Главный политический и социальный позвоночник Соединенных Штатов, вероятно, протянется вдоль рек Огайо, Миссури и Миссисипи, на Запад и на Восток от них, до Канады включительно. Все эти области, с родственной группой других, простирающихся к Великому Океану (им суждено господствовать над Океа-

---

почти безумная жажда денег, отличающая Соединенные Штаты, способствуют тому прогрессу и усовершенствованию нации, которых я добиваюсь. В мой план входит и богатство, и добывание богатства, и обилие всевозможных продуктов, энергии, активности, изобретений, движений и т. д. На них, как на твердом грунте, я воздвигаю то здание, чертеж которого изображается мною на этих страницах.

ном с бесчисленными эдемами его островов), свяжут Америку воедино, закрепят ее основные черты и, сохранив все старое, расширят это старое и привьют к нему новые, более мощные, национальные побеги. Вырастет нечто гигантское, берущее соки из прошлого и превращающее их в прекрасный и славный расцвет. С Севера к нам идет солнце всех вещей, ум, идея непоколебимой справедливости, якорь для жестоких бурь. С Юга — живая душа, готовая на добро и зло, гордая, не знающая другого закона, кроме себя самой. Запад даст нам стойкую закаленную личность, с крепкими мышцами и здоровою кровью, способную переплавить в себе что угодно.

Существующая политическая демократия в том виде, в каком она действует и существует в Америке, при всех ее грозных недостатках, служит школой, воспитывающей лучших людей. В этой гимназии жизни можно научиться всему, не только добру, но всему. Пусть и неуспешно, но мы пробуем силы на многом. Сладостное чувство борьбы, присущее атлетам, наполняет эти арены, и свобода радует борющихся, независимо от того, достигнут ли они успеха, или нет. Многое остается для нас недостижимым, но наслаждение и тревога борьбы дает нам опыт и укрепляет наши силы для обширной кампании. Времени впереди у нас много. Пусть победители придут после нас. Зло не даром играет такую роль среди нас. Судя по главным эпохам истории мира, справедливость всегда была в угнетении, мир шествовал среди провалов и ям, и не было еще такого времени, когда какой-нибудь голос мог бы сказать, что в мире не существует рабства, нищеты, низости, лукавства, тиранов и доверчивой наивности простого народа, — как бы ни были разнообразны те формы, в которых выражаются эти грехи. Иной раз тучи на минуту прорвутся, выглянет солнце, и снова — как будто навеки — глубокая тьма. Но есть бессмертное мужество и дар пророчества во всякой неизвращенной душе — она до последней минуты не должна и не станет сдаваться! Да здравствует вечная атака, да здравствует вечный

набег! Да здравствует непопулярная, непризнанная толпою идея, за которую дерзновенно сражается человеческий дух, неуклонные и неустанные попытки, среди враждебных прецедентов и доводов.

Однажды, еще до войны, я был полон сомнения и уныния. (Увы, мне стыдно признаться, как часто эти чувства приходили ко мне). В этот день у меня был разговор с одним иностранцем, проницательным, хорошим человеком; разговор произвел на меня впечатление; в сущности, он выражал мои собственные наблюдения и мысли. — „Я много путешествовал по Соединенным Штатам", говорил иностранец. „Я наблюдал ваших политических деятелей, слушал речи кандидатов, читал газеты, заходил в пивные, вслушивался в непринужденные беседы людей. И я убедился, что ваша хваленая Америка с ног до головы покрыта язвами, и эти язвы — вероломство, измена и себе и своим принципам! Изо всех окон, изо всех дверей на меня бесстыже глядели адские личины раздора и рабства. Всюду я видел, как мерзавцы и воры либо назначали других на всевозможные общественные должности, либо сами занимали эти должности. Север не менее гадок, чем Юг. Из сотни чиновников, служащих на обще-государственной службе, или в каком-нибудь Штате, или в каком-нибудь городе, не было и одного, который был бы избран волей незаинтересованных лиц, волей самого народа. Все были назначены большими или маленькими кучками политиканов, благодаря недостойным интригам, неправильному голосованию; заслуги и достоинства здесь не при чем. Я вижу, таким образом, как миллионы упорных, трудящихся фермеров и мастеровых превращаются в беспомощный гибкий камыш — в руках сравнительно немногочисленных политиков. И чем дальше, тем больше я видел — в тревоге, — как отдельные партии захватывают власть и с открытым бесстыдством пользуются ею для партийных целей".

Печальные, серьезные, глубокие истины. Но есть другие, еще более глубокие истины, которые преобладают над первыми и, так сказать, опровергают их. Над все-

ми политиканами, над их большими и малыми кучками, над их наглостью и подлой порочностью, над самыми сильными партиями возвышается власть, может быть, покуда еще дремлющая, но всегда решающая и приказывающая по своему усмотрению, осуществляющая свои решения с суровой непреклонностью. Порою она разбивает вдребезги самые сильные партии, даже в самый расцвет их могущества.

В более светлые часы все кажется совершенно иным. Есть события и более существенные, чем избрание президента, мэра или законодателя, хотя, конечно, очень важно, кого избирают, и скверно, если избирают невежду или негодяя. Обман, как морские отбросы, всегда окажется на виду, на поверхности. Лишь бы самая вода была глубока и прозрачна. Лишь бы одежда была сшита из добротной материи; ей не повредят никакие позументы и вышивки, никакая наружная мишура; ей вовеки не будет сносу. Словом, не беда, если в нашем народе и в нашей стране возникла кровавая смута; ведь этот народ сам нашел в себе силы ее подавить. В конце концов, главное значение в стране имеет лишь средний тип человека. У нас в Штатах он бессмертный господин и хозяин всего; и только он, различными путями, извлекает пользу из работы любого чиновника, даже негодного (обеспечивая себе удовлетворение насущнейших, наиболее элементарных потребностей, регулярность в выполнении этих функций и дальнейшую охрану их).

Для нации, которая, подобно нашей, находится в процессе некоторого как бы геологического формирования, которая вечно совершает новые опыты, привлекает все новых и новых деятелей, полезны не только лучшие люди, но и люди ей враждебные, вызывающие распри и вражду. Распри, негодование, вражда лучше довольства. В них предупредительные сигналы для будущего.

Но постоянно (как лейтмотив в увертюре) одна и таже мысль возвращается ко мне и придает этим страницам их основной тон, их мелодию.

Когда я скитаюсь под разными широтами в разные времена года и наблюдаю толпы в больших городах: в Нью-Йорке, Бостоне, Филадельфии, Цинциннати, Чикаго, Сэнт-Луизе, Сан-Франциско, Новом Орлеане, Балтиморе, когда я смешиваюсь с этими сонмами оживленных, подвижных, добродушных и независимых граждан, мастеровых, клерков, подростков, то при мысли об этом множестве свежих, свободных, любящих и гордых людей, меня пугает одна странная мысль.

С изумлением и стыдом я чувствую, что никто из наших гениев, талантливых писателей и ораторов, не говорил с этими людьми по настоящему. Мало кто мог, вернее — никто не мог создать для них хоть единый образ или впитать в себя и претворить в себе их дух и главные особенности, из которых даже самые характерные остаются до сих пор незапечатленными и непрославленными.

Сильна власть тела, но власть духа еще сильнее. То, что наполняло и наполняет наши мысли, наше воображение, дает нам лозунги и критерии жизни, приходит все еще из заграницы. Великие поэмы, включая Шекспировы, отравны для гордости и достоинства простого народа, для жизненного сока демократии. Те литературные образцы, которые пришли к нам из других стран, из-за моря — родились при дворах, выросли в лучах солнца, светившего замкам; все они пахнут королевскими милостями. Правда, есть у нас не мало писателей, работающих в самобытном, неподражательном стиле. Многие из них элегантны, многие учены и все — благодушны. Но подойдите к ним с национальной или демократической меркой, и они обращаются в прах. Я не знаю ни одного писателя, художника, оратора или кого бы там ни было, который шел бы наравне с безгласными, но живыми и деятельными, всепроникающими стремлениями своей страны, охваченными ее духом.

Неужели эти маленькие щегольские созданьица могут назваться американскими бардами? Неужели эту бесконечную, клейстерную, худосочную работу можно назвать американским искусством, американской драмой, критикой, поэзией?

Мне кажется, что с западных горных вершин я слышу презрительный смех Гения этих Штатов.

В молчании, не торопясь, Демократия вынашивает свой собственный идеал не только для искусства и литературы, но и для человеческой личности. Идеал американской женщины (освобожденной от того допотопного и нездорового тумана, который облекает слово лэди), женщины вполне развитой, ставшей сильным работником, равным мужчине не только в работе, но и в решении жизненных и государственных вопросов. И кто знает — может быть, благодаря своему божественному материнству, они станут даже выше мужчин. Материнство — вечный, высочайший, загадочный их атрибут. Во всяком случае, они могут сравняться с мужчинами, едва только захотят этого, и сумеют отказаться от своих игрушек и иллюзий, чтобы, подобно мужчинам, столкнуться с подлинными реальностями независимой бурной жизни.

Скажу здесь (возвышаясь над чисто научным мышлением) свою окончательную, последнюю мысль, что в наши дни исчерпывающее, эпическое изображение демократии или какой-нибудь ее отрасли еще невозможно, ибо доктрины о ней могут действенно воплотиться лишь в частностях, а дух ее повсюду, во всем, в самом центре, в самом корне.

Далеко, далеко расстилаются лежащие перед нами дали. Многое еще нужно освободить и распутать, не мало времени пойдет на то, чтобы доказать этому американскому миру, что он сам для себя есть высший авторитет и опора.

Неужели ты, о друг, предполагаешь, что демократия существует только для выборов, для политики и для наименования партии? Я же говорю, что демократия нужна для грядущего, чтобы цветом и плодами войти в наши нравы, в высшие формы общения людей, в наши литературные вкусы, в религию, в университетскую жизнь, в школы, в государственный и частный быт, в армию и во флот.

Я уже говорил, что у моей идеальной системы нет еще ни осуществителей, ни убежденных последователей. До сих пор у демократии нет ни проповедников, ни сколько-нибудь видных поборников, никто не поддерживает ее, и многие часто вредят ей.

Она вызвана к жизни всеми моральными силами страны, а также торговлей, финансами, машинами, путями сообщения и, вообще, всеми факторами исторического развития нации и, как прилив, или как движение земли по орбите, остановить ее ничто не в состоянии. Грубая и необ'ятная, она живет в сердце у каждого среднего природного Американца — главным образом, в земледельческой полосе. Но, ни там, ни в других областях ее еще не восприняли с глубокой горячей верой.

Свои самые крупные плоды она принесет только в будущем. Всматриваясь пытливым и понятливым взором в роскошно-пестрый мир средневековья, мы видим на протяжении отдельных эпох и целого ряда эпох один глубокий, здравый, человеческий и божественный принцип или источник, из которого проистекали законы, церковная жизнь, нравы, костюмы, обычаи, учреждения, личности (поныне непревзойденные), точно отражающие этот принцип и возникающие лишь для его прославления или для того, чтобы составить фрагмент той многоцветной подвижной картины, центр которой един и абсолютен.

Точно также, когда по истечении целого ряда веков, будущий историк или критик захочет написать историю развития демократического принципа, ему придется разобраться в неменьшем периоде времени. И результаты такого исследования покажут, что за долгое время, когда демократия управляла человечеством, она была таким же единым источником и мерилом для всех моральных, эстетических, общественных, политических, религиозных проявлений и учреждений всего цивилизованного мира, — что она охватила собою их дух и их форму, что она возвела их на недосягаемую высоту, что она создавала подвижников и монахов, более многочисленных и рьяных, чем монахи и священники всех предыдущих культов, что Демократия, как сама При-

рода, наполняла века широтою и закономерностью стихии; что она сформировала, организовала, победоносно завершила и создала, в своих собственных интересах и с небывалым успехом, новую землю и нового человека.

Увы! То, о чем я пишу, еще не существует. Я странствую с пустой, неначерченной картой в руках. Но мы уже испытываем муки родов. Мы вступили в эпоху сомнений, ожиданий, и преимущество этой эпохи заключается именно в том, что нас осеняют подобные темы; раскаленная войной и революцией наша вдохновенная речь, хотя и не выдерживающая критики в отношении элегантности и связности, приобретает подлинность молнии.

Может быть, мы уже и теперь получим свою награду (ибо почти во всех странах уже и теперь есть достойные всяких наград). Хотя не для нас предназначена радость вступить победителями в завоеванный город, хотя нашим глазам и не суждено узреть могущество и блеск демократии, достигшей своего зенита и наполняющей мир сиянием такого величия, какого не знал ни один из королей и феодалов, — но для избранных уже существуют пророческие видения, есть радость участия в треволнениях нашего времени. Эти избранники, по мановению Бога или Святого Духа, коего другие не зрят и не слышат, могут об'явить Его волю и указывать путь к Нему в гордом сознании, что среди всех туч, соблазнов и надрывающих сердце препятствий, не отступили, не впали в отчаяние, не предали веры своей.

Теперь, когда мы изложили нужнейшее, заложили, так сказать, основы возводимого нами здания, нашей Идеи, мы постараемся показать ее с другой стороны, самой показной, с главного и, может быть, наиболее высокого фасада.

Ибо Демократия, как уравнительница, насаждающая общее равенство одинаковых средних людей, содержит в себе и другой такой же неумолимый принцип, совершенно противоположный первому, как противоположны мужчина и женщина. Оба они, сталкиваясь,

взаимно изменяя друг друга, часто враждуя друг с другом, обеспечивают, как это ни странно, равновесие, правильный баланс нашей мировой политики и спасают нас от смертельных опасностей неустановившегося республиканства. Здесь противовес, которым природа измеряет непреклонную стихийную силу всех своих основных законов.

Этот второй принцип — индивидуализм, гордое центростремительное уединение человека в самого себя, личность, персонализм.

Этот принцип, как бы он ни назывался, должен разлиться теперь по всему организму государственной демократии, образ которой, как рассвет, появляется над миром. Этот принцип величайшей важности. В нем наша жизнь. Он должен служить уравнительным маятником для всего механизма Америки.

И если мы вникнем поглубже, на чем зиждется сама цивилизация, и какая у нее главная цель — у всех ее религий, искусств, наук и т. д. — нет у нее другой цели, кроме богатого, роскошного, многообразного персонализма. К этому устремляется все. И только потому, что Демократия стремится к этому со стихийной силой Природы, только потому, что, ради этой задачи, она подымает необ'ятную целину человечества и бросает в нее свои зерна, — только потому она имеет в наших глазах такую высокую ценность, и все ее притязания кажутся нам законными. Она дает личности полный простор. Литература данной страны, ее песни, эстетика и т. д. имеют значение постольку, поскольку они служат материалом и образцами для создания личности мужчины и женщины, дают ей толчок и усиливают ее тысячью различных способов. Подобно тому, как каждый отдельный Штат может развиваться и крепнуть лишь благодаря могучему об'единению и слиянию всех Штатов, так и отдельная личность, во всех ее свободных проявлениях, может расцвести пышным цветом лишь в республиканском государстве.

Признавая, что Демократия находится еще в зачаточном состоянии, что она оправдает себя только в бу-

дущем путем широкого производства совершенных личностей в народе, а также благодаря нарождению здоровой и прочной религиозности, я хочу указать Новому Свету, какая для этих личностей нужна атмосфера, какой им нужен широкий простор, по какому плану и при каких условиях они создадутся. Здесь я чувствую себя исследователем в неизвестной стране, который, подобно другим открывателям неведомых стран, должен сделать все, что только в его силах, оставляя тем, кто придет вслед за ним, исправить его наблюдения. (Самое трудное — проложить первую тропу, пусть и грубую, геометрически-неровную).

Мы часто печатали в этих строках слово Демократия. Я никогда не устану повторять, что дух этого слова еще спит непробудным сном, несмотря на отголоски тех жестоких бурь, из которых это слово возникло на языке и на бумаге. Это великое слово, история которого не написана потому, что она вся еще в будущем. Оно до некоторой степени есть младший брат другого великого и часто-звучащего слова — Природа, история которого тоже еще не написана. Я вижу, что в наших Штатах все начинает стремиться к широким, всеоб'емлющим движениям, физически и морально захватывающим все человечество, порою проносящимся по всей планете. По своей грандиозности эти стремления подобны стихийным проявлениям Природы. Я глубоко уважаю их. А затем, отметив эту широту, этот грандиозный размах, небесполезно также свести все к бесконечно малому масштабу: к суждению отдельного человека — мужчины или женщины — при неизменных постоянных условиях. Даже при рассмотрении мировых вопросов, политических, метафизических и всяких других, мы неизбежно придем к одной - единственной, одинокой душе.

В самые трезвые наши часы в сознании возникает независимая, свободная мысль, воспарившая над всем остальным, спокойная, как вечно сияющие звезды. Это мысль о тождестве, о неизменности нашего я: вы, кто бы вы ни были, вечно равны себе. И я — себе. Чудо

из чудес, неизреченное, самый одухотворенный и смутный из наших снов на земле и в тоже время основной и самый существенный факт — единственный источник всех фактов. В такие молитвенные святые часы, среди знаменательных чудес, наполняющих небо и землю, (знаменательных лишь потому, что в центре находится Я), все верования и условности падают и теряют всякое значение пред лицом этой простой мысли. Так ярко это подлинное видение, что только оно одно охватывает всего человека, только оно одно имеет настоящую ценность. Подобно сказочному карлику, который сперва был маленькой смутной тенью, но вырос до неба, едва только на него посмотрели, эта идея простирается над целой землей и выростает до свода небес, едва только дашь ей свободу. Природа учит, что ценность каждого Существа — в нем самом, в согласии с его центральной идеей и целью. Природа также учит, как ему нужно расти из этой идеи и ради нее, не руководствуясь никакими другими критериями и не приспособляясь к ним. Правда, человек, живущий полной жизнью, мудро усваивает внешние элементы бытия, собирает их и накопляет. Но если при этом он зайдет слишком далеко, не соблюдет меры, пренебрежет своими драгоценнейшими самобытными, личными качествами, он неизбежно обречен на неудачу, как бы ни был он культурен вообще. Такая же неудача ожидает его, если он слишком выпятит в себе свою личность. Утонченности в нас больше, чем достаточно. Мы слишком много обращаем внимания на выработку изысканных чувств, которые угрожают раз'есть нас, как язва. Демократический гений неприязненно смотрит на эти стремления и утонченности. Немного здоровой грубости, дикости, простоты, вот что потребно теперь. Пусть каждый выявит то, что заложено в нем природой. Отрицательные качества, даже из'яны, были бы спасительны. Нужно отмежеваться от нашего слишком сложного и слишком искусственного общества, которое становится чем дальше, тем искусственнее и сложнее. Как жаждем мы самобытности, естественной простоты! как были бы мы рады, если бы эти свойства вернулись.

Мы чувствуем, что мы призваны итти именно в таком направлении — конечно, не теряя равновесия. Мы должны отдать этой цели все силы, не вследствие каких-нибудь абсолютных причин, а вследствие нынешних и преходящих. Ибо ныне мы только и делаем, что наряжаем, прихорашиваем, подстригаем, обтачиваем углы и шлифуем, вечно глотаем и пичкаем. Изысканность и приличие — главные наши заботы.

Конечно, все это бывает полезно, но мы ведь не обсуждаем вопроса, что нужно для полуголодной и варварской нации или для нескольких подобных же наций, мы говорим о все растущем, разжиревшем обществе, уже задыхающемся и разлагающемся от напыщенной, проникнутой безверием литературы, от учтивого безличия и искусства. В дополнение к существующим наукам мы хотели бы создать науку о здоровой, средней, самобытно-универсальной личности. Задача этой науки заключалась бы в создании для наших Штатов обильной расы отборных мужчин и женщин, — расы жизнерадостной, религиозной, такой, лучше которой еще не было в мире.

Америка еще не дала ничего своего ни в области морали, ни в области искусства. Она почему-то не хочет понять, что люди, книги, нравы и т. п., годные для прежних условий и для европейских земель, у нас оказываются чужестранной экзотикой. Ни одно из жизненных течений, выбившихся на поверхность того, что у нас авторитетно называется обществом, не сливается ни с социальной жизнью, ни с эстетикой Демократии, все они ей прямо враждебны. Никогда еще в Старом Свете бутафорская, фальшивая внешность в духовной области и во всякой другой, целиком основанная на идее каст, на вере в поверхностный лоск, в дешевую развязность языка, заменяющего мысли словами, никогда еще вся эта ложь не была таким мерилом человека, каким она стала у нас, в наших республиканских Штатах.

Писатели повторяют девизы эпохи и ее эфемерных богов. Теперь таким девизом сделалось, по их уверениям, слово Культура.

Здесь мы внезапно столкнулись лицом к лицу с врагом. Это слово (или то значение, которое ему придается), прямо противоположно всей нашей теме и заставляет нас принять вызов. Сразу возникают вопросы, создают ли культурные процессы (в том виде, как их понимают и принимают теперь) класс поверхностных, ни во что не верующих циников? Не потеряется ли человеческая личность, приспособляясь к бесчисленному множеству якобы культурных явлений? Можно ли настолько перекраиваться на чужой лад, чтобы все, что есть простого, хорошего, здорового и смелого в душе, было подравнено и подстрижено, как кизиловая изгородь в саду. Можно возделывать рожь, фруктовый сад, сажать розы, — но кто же станет культивировать горные вершины, заботиться о великолепии облаков и океана? Принято, наконец, говорить, будто культура стремится только к тому, чтобы привести в порядок, систематизировать, придать должную форму могучим и плодородным стихиям природы. Но разве это действительно так?

Я не столько возражаю против отдельных слов или названий, но я хотел бы для пользы Штатов, чтобы систематизация богатств природы была произведена на других основаниях. Я хотел бы видеть программу культуры, предназначенную не для одного какого-нибудь класса, не для гостиных и аудиторий, но также и для действительной жизни и для трудового населения Запада, для фермера, механика, плотника; я хотел бы, чтобы она имела в виду женщин среднего и рабочего класса, а также их полное равноправие с мужчинами и великое и могучее их материнство. Эта программа или теория должна быть достаточно широка, чтобы вместить широчайшие слои человечества. Главной задачей культуры должно быть создание типической личности, пригодной для высокого среднего уровня, и не ограниченной такими условиями, которые непригодны для масс.

Лучшая культура — это культура мужественного, смелого инстинкта, культура любви и самоуважения.

На нашем континенте она должна создать людей восприимчивых к универсализму. Истое дитя Америки, она принесет ей радость, вернувшись в ее же лоно, и

даст мириады потомков. Она создаст миллоны здоровых, неиспорченных, терпимых, набожно верящих в Америку людей с ясным пониманием того, почему и для какой цели Америка возникла, и это будет наиболее обширным, наиболее грозным изо всех порождений истории, гигантскими шагами совершающим свой путь во Времени.

Пытаясь, хотя бы грубо, нарисовать типичный общепортрет будущего среднего американца (для обшего пользования всего мужского населения Штатов), попробуем раньше всего приготовить холст для этого портрета. Нужен портрет наиболее простой и понятный для всех, не слишком яркий по краскам. Вопрос о родителях, конечно, главнейший. (Скоро ли настанет то время, когда первой и самой благородной из наук будет та, которая научит искусству рождения?) Для нашего идеала нужны чистая кровь и могучие мышцы. Нечего и говорить о хорошей еде, хорошем питье, пищеварении, упражнениях на воздухе. При этих условиях удачное потомство обеспечено. Нам обеспечено бодрое, свежее, пылкое, восприимчивое, чуткое юношество, эмоциональное и исполненное духа приключений. Нам обеспечены храбрые, проницательные, сдержанные, не болтливые, но и не угрюмые, не слишком бойкие, но и не слишком понурые зрелые люди. Движения этих будущих людей должны быть свободными; цвет лица — свидетельствовать о превосходнейшей крови; грудь у них должна быть широкая, держаться они должны прямо, голос их должен звучать мелодичнее музыки, взгляд должен быть спокойным и серьезным, хотя порою он должен сверкать. Точно так же очень важно умение держаться пред высшими без низкопоклонства. (Ибо не культура и не знания какого бы то ни было рода, а прирожденное чувство достоинства дают человеку способность держаться, не унижаясь, в присутствии президента, генерала или в каком-нибудь высоком собрании).

Что же касается умственного развития нашего идеального человека, то в наше время, особенно в Америке, вошло в обычай так сильно заботиться об этом, что,

несмотря на все значение этого дела, от нас потребуется только слово предостережения против непомерных излишеств. Не слишком ли много материала накопляем мы у себя в голове? Почему мы сосредоточиваем всю нашу энергию на исключительном воспитании ума? Об идеальном костюме, о манерах тоже не будем говорить. Подобно красоте и грациозности — это все уже следствия, которые явятся сами собой, когда будет достигнута сущность. Обратите внимание на главное, а манеры явятся сами собой. Художники много говорят о высоком стиле, как будто высокий стиль существует сам по себе. Если у человека,—художник он, или нет,—есть здоровье, уважение к себе, ум, благородные стремления — у него есть все, что нужно для самого высокого стиля. Остальное только мастерство, ловкость рук (хотя, конечно, не маловажно и это).

Не касаясь некоторых существеннейших качеств нашего идеального будущего человека, я не могу не упомянуть о том, которое в последнее время более всех других оставалось в тени, хотя отсутствие этого качества угрожает самыми мрачными последствиями. Я разумею простую, не испорченную софизами совесть, первичную моральную основу. И если бы меня спросили, чего я больше всего боюсь в отношении нашей чаемой, грядущей Америки, — я указал бы на отсутствие совести. Я хотел бы, чтобы эта старая, верная для всех людей, для всех веков и народов мерка всегда неизменно применялась к личности. Пока у человека, порожденного современной культурой, не хватает совести, он жалкий калека, при всей своей выучке и внешней умелости. После создания мужской и женской индивидуальности, на западном нашем континенте может быть и должна быть одна лишь Религия (надежда на это у меня все растет и растет). Религия созревает только в законченной личности, чего не удастся достичь ни одной организации или церкви.

Подобно тому, как история стоит неизмеримо выше того, что обычно называется историей, ибо печатные страницы не дают о ней никакого понятия, если только

в душе у историка не живет под спудом чувство другой, ненаписанной истории, которую и написать невозможно, — точно так же и Религия, случайно захваченная разными церквами и верами, и бережно ими хранимая, совершенно не зависит от них, но составляет лишь часть отдельной души человеческой, которая, возмужав, понимает Библию уже не по-старому, а по-своему, поновому; душа воспринимает Религию, только освободясь от церквей, но никоим образом не раньше того. Персонализм уничтожает все церкви. Они тают и расплавляются в нем.

Этому способствует настоящая Личность. Я даже сказал бы, что лишь для беспорочной и уединенной человеческой личности доступна высшая духовность Религии. Только здесь возможно созерцание, священный экстаз и высокое парение духа. Только здесь возможно общение с великими тайнами, с вечными вопросами: откуда? куда? При одиночестве, наедине с самой собой, душа взмывает ввысь, а все заповеди, церкви и проповеди исчезают, как дым. Лишь в одиноком, молчаливом, благоговейном устремлении ввысь — внутреннее сознание, как буквы магической тайнописи, дивно возникает в душе. Библии учат, священники толкуют, но только молчаливое, одинокое Я может свободно войти в чистую сферу молитвы, подняться до божественных высот и приобщиться неизреченному.

Не подлежит сомнению, что мы должны совершенно отказаться от мужских и женских типов, которые нам завещал восточный, феодальный и экклезиастический мир. Правда, типы эти живописны и мелодраматичны, их, конечно, нужно изучать, но все же они являют собою жалкий вид и кажутся странным анахронизмом на фоне окружающих нас дел и потребностей. Нет никакого сомнения, что вечные их элементы останутся. Задача заключается тоже в том, чтобы с успехом применить их к условиям нашего времени. Это совсем не так невозможно. Я представляю себе у нас теперь же такую общину совершенных людей, которые об'единяются безо всякого шума. Скажем, где-нибудь на

Западе, в прелестном поселке или городке—несколько сот лучших мужчин и женщин, ничем не выдающихся по своему положению в свете, не особенно гениальных, не особенно богатых, только честных, неразвращенных, жизнерадостных, трудолюбивых, общительных и верующих, имели бы счастье поселиться вместе. В каждом из тамошних стариков или юношей, в каждой женщине я вижу истинную личность, гармонически и самобытно развитую, в отношении тела, ума и души. Я представляю себе такую общину с правильным разделением труда в земледелии, строительстве, торговле, суде, почтовых сношениях, выборах, школах; остальные области жизни будут свободно развиваться и расцветать у каждого по своему, в зависимости от индивидуальных способностей, и приносить золотые плоды. И это, по моему, не какой-нибудь исключительно редкий, почти невозможный случай. Он вполне согласуется с городскими и общественными нуждами нашего времени. Такая община, в своем высшем развитии, превзойдет стереотипный блеск всякой истории и всяких поэм. Возможно, что такие общины уже осуществились в практической жизни и существуют где-нибудь в Огайо, Иллинойсе, Миссури, еще не воспетые в песнях, не представленные на театральных подмостках, не описанные ни в статьях, ни в биографических очерках. В самой обыденной простой прозе жизни они, быть может, превосходят все то, что до сего времени нам рисовали на самых лучших идеальных картинах.

Обратившись теперь к работе созидательной (ибо настало время свершений, довольно обещаний и посулов), Америка, ради собственного блага, должна порвать с теорией характеров, создавшейся под влиянием феодальной аристократии, ее литературы, блестящей кастовой цивилизации, принесенных к нам из-за океана.

Она должна со всей суровостью провозгласить свои собственные, новые, но достаточно созревшие принципы, а сохранившиеся старые привести в новый порядок, перетасовать их по новому, приспособить к современности и демократии, к западу, к практическим нуждам

наших городов и земледельческих местностей. Главная ценность всегда в заурядном, в обычном. Свежий ветер, носящийся над холмами, полями, озерами, всегда лучше всякого веера, хотя бы из слоновой кости, хотя бы и пахнущего тонкими духами. Свежий воздух ароматнее самых дорогих ароматов.

А теперь, во избежание ошибок, мы должны приостановиться на миг и попросить прощения у того, что по праву зовется Культурой, или как-нибудь связано с ней. Прости нас, досточтимая тень, если мы легкомысленно, без должного уважения, отозвались о твоей роли! Тебе принадлежит вся цивилизация у нас на земле, вся ее слава и блеск. Если мы упрекаем тебя, то ради тебя же самой, в духе твоих же стремлений, ибо мы хотим, чтобы ты достигла наивысших вершин твоего же собственного духа. Ведь и ты, могущественная исполнительница чужих начертаний [1]), знаешь, что есть Нечто, стоящее выше тебя, а именно, вечно-юные неумирающие основы Бытия. От них и чрез них мы, подобно тебе же (когда ты на высоте своих принципов), почерпаем всю помощь, чтобы оживотворить нашу Америку и наши дни. Оттого-то мы и не возражаем против принципов культуры, мы только наблюдаем за ними и наряду с ними провозглашаем другой, столь же глубокий, а может быть, более глубокий — принцип. Мы доказали, что Новый Свет таит в себе всеуравнивающий аггрегат демократии и что вместе с тем в нем сокрыта многогранная, всепроникающая, всеосвобождающая теорема индивидуальности. Мы показали, что в Демократии для каждой отдельной личности устанавливается широчайшая рама, или, если хотите, платформа — для фермера и для рабочего, для женщины и для мужчины. Мы показали, что Демократия Америки создаст личность, совершенную не только физически, требующую не одной только умственной и ученой пищи,

[1]) В подлиннике — mighty minister, что, в сущности, значит: могучий министр, могучий священник или могучее средство, орудие. Во всех этих значениях сохраняется общий смысл — исполнитель чужой воли.

а личность религиозную, обладающую идеей Бесконечного (верный руль и компас для нации или отдельной души, во время тяжелого странствия в бурю, по черным и буйным волнам). Эта личность, созданная демократией, постигнет в глубочайшем значении этого слова, что истинная служба человечеству заключается в том, чтобы каждый был верен себе, для высших нечеловеческих целей, и что, наконец, наша смертная мгновенная жизнь имеет величайшее значение для бессмертной, неведомой, духовной, единственно-истинной, вечной жизни, которая ждет нас и примет, как океан принимает реки, — каждого, каждого из нас.

Все видимое величие мира, стремящегося к высшим целям, зависит лишь от человеческой мысли. Здесь, и только здесь, покой и равновесие всех вещей. Ибо ум, возводящий долговечное здание, надменно строит его лишь для себя одного. Он один (и все, что подвластно ему) дает пищу нашим смертным чувствам, предлагает им последние плоды материализма, приобщает его к познаваемому и пророчествует ему о неведомом. Выразить и воплотить в литературе великие идеалы-прототипы, наполнить нас до краев величайшей гордостью и величайшей любовью, достигнуть духовного понимания вещей и пророческого прозрения в будущее — это, и только это потребно душе человеческой. Мы не должны говорить против подлинных реальностей жизни, но мудрый и без того знает, что подлинными они становятся только от прикосновения чувства или разума. А разве последние можно назвать невесомыми? Нет, мы скорее скажем, что самый слабый звук песни, бесчисленные эфемерные ощущения, вызванные оратором или рассказчиком, плотнее и тяжелее машин на заводах и гранитных глыб в их фундаменте.

Мы приближаемся, таким образом, к важнейшим вопросам. Рассматривая в свете всего сказанного (в духе нового и более развитого персонализма) литературные нужды и возможности Америки, мы должны будем сразу признать, что широкая бездна отделяет нынешнее состояние литературы и все, что связано с нею, от

условий, нужных для Америки, для мира, для той многообильной расы совершенных мужчин и женщин, которую мы старались хотя бы грубо очертить в этих „Путях“.

Разница между старым и новым не меньше, чем между расплывчатыми туманностями в межпланетных пространствах и сформировавшимися, плотными, компактными, соединенными в систему мирами, которые висят, как светильники вселенной, взаимно озаряя друг друга, и служат твердой опорой для ноги человеческой, почвой для удовлетворения грубейших потребностей, а еще больше бессмертной цепью знамений и свидетельств Духа. Нива для работы — беспредельная! Новое мироздание, двинувшее новые сферы, которые будут свободно и закономерно вращаться по своим размеренным кругам, подобно солнцам блистая в эфире! Такова должна быть Литература Нового Света — никак не меньше! Если она будет такова, если она вырастет из почвы этих Штатов, она увековечит их и сплотит воедино.

Что же, однако, мы подразумеваем под литературой Нового Света? Разве литература не процветает у нас? Разве в Соединенных Штатах не работает сейчас больше типографских шрифтов и машин, чем в какой-либо иной стране? Разве у нас не выходит в свет новых изданий больше, чем где бы то ни было? Разве наши издатели не становятся все толще и толще? (Пользуясь послаблением эфемерных законов или, вернее, отсутствием всяких законов, они распоряжаются по своему усмотрению поэтическим, историческим, художественным материалом, юмористикой и любовными песнями, не платят за него и отвечают наглым отказом на самые робкие намеки о плате). Многие находятся под обаянием этой иллюзии, но мне хочется рассеять ее. Страна может утопать в целых реках и океанах удобочитаемых книг, газет, сборников, романов, журналов, стихов, библиотечных изданий и пр.; все эти издания могут быть полезны и ценны, как, например, в наших Штатах; сотни весьма почтенных томов могут ежегодно

писаться и издаваться, — сотни и тысячи могут выбрасываться на рынок — и всетаки у этой нации или страны — литературы, в строгом смысле слова, не будет вовсе.

Остается только повторить вопрос, что мы подразумеваем под истинной литературой и, особенно, под будущей демократической литературой? Это трудный вопрос. Распутываясь, нить ведет нас к прошлому. В лучшем случае мы можем дать лишь намеки, косвенные указания, сравнения.

Для цели этих набросков нужно повторить еще раз глубокое поучение истории и времени: пока самобытная, национальная литература не оживит того, что накоплено народом и эпохой, его политикой, материальной культурой, героями, подвигами и т. д. — все это останется грубым сырьем и не может быть ни учтено, ни оценено сколько-нибудь точно и правильно. Весь этот сырой материал должен претвориться в самобытные национальные прототипы, которые, будучи выражены в литературе, одни могут окончательно сформировать нацию, они одни могут что-либо доказать, завершить и продолжить. Без сомнения, были такие богатейшие, могущественнейшие, густо-населенные страны древнего мира, такие величайшие люди и величайшие события, которые не оставили нам после себя никакого наследства. Без сомнения, многие страны, героические деяния, люди, о которых мы не знаем, как их звали, где и когда они были, во много раз превосходили тех, о которых известия дошли до нас. Для иных же путешествие через безбрежное море столетий завершилось благополучно. Что же было тем чудом, которое сопутствовало и помогало плыть этим малым суденышкам по пучинам мрака, летаргии, забвения и невежества?

Несколько строк, несколько письмен, несколько бессмертных творений, небольших по размерам, но охватывающих бесценные сокровища воспоминаний, портретов, нравов, наречий и верований, с глубочайшими проникновениями и мыслями, вечно связующими, вечно волнующими старое и новое тело, старую и новую душу! Они! только они везли и везут такой драгоцен-

нейший груз — дороже чести, дороже любви! Все лучшее, что пережито человечеством, спасено, сохранено и доставлено нам ими!

Некоторые из этих утлых суденышек называются Ветхий и Новый Завет, Гомер, Эсхил, Платон, Ювенал и т. д. Драгоценные атомы! И если бы пришлось выбирать, то, как бы это ни было ужасно, мы скорее согласились бы видеть разбитыми и идущими ко дну со всем своим грузом все наши корабли, стоящие в верфях или находящиеся в плавании, лишь бы не утратить вас и подобных вам и всего, что пристало к вам и выросло из вас!

Все собранное гениями города, расы, эпохи и вмещенное ими в наивысшую форму искусства — литературную, — все особые сочетания и отражения, свойственные лишь данному городу, данной эпохе и расе; своеобычные разновидности универсальных свойств и страстей, все созданные литературой герои, влюбленные, религии, боги, войны, предания, преступления, эмоции, радости (или еле уловимый их дух), все это дошло до нас для озарения нашей личности и ее житейского опыта. Все это насущно-необходимо, исполнено высшего смысла. И если бы это погибло, нашей потери не могли бы возместить все необ'ятные сокровищницы целого мира!

Для нас — эти величавые и прекрасные памятники по краям большой дороги времен. Для нас—эти сигнальные огни, пылающие темными ночами.

Безвестные египтяне, чертящие гиероглифы; индус, творящий гимны, изречения и нескончаемый эпос; еврейский пророк, сжигаемый спиритуализмом, как молнией, горящий раскаленною до-красна совестью, плачущий и поющий о мщении за угнетение и рабство; Христос, поникший головою, как голубь, воркующий о мире и любви; грек, создающий бессмертные образы физической и эстетической гармонии; римлянин, владеющий сатирой, мечом и законом, — иные из этих фигур далеки, затуманены, иные ближе и более видны. Данте, худой, весь одни сухожилия, ни куска лишнего мяса; Анджело, и великие художники, архитекторы,

музыканты; пышный Шекспир, великолепный, как солнце, живописец и певец феодализма на закате его дней, блещущий избыточными красками, распоряжающийся, играющий ими по прихоти; и дальше, вплоть до Германии, до Канта и Гегеля, которые, хотя и близки к нам, похожи на бесстрастных, невозмутимых египетских богов, словно они перенеслись через бездны столетий. Неужели этих гигантов и многих подобных мы были не вправе приравнять к планетам, планетным системам, носящимся по вольным тропам в пространствах иного неба, космического интеллекта, души?

Вы, могучие и светозарные! вы взростали в своей атмосфере не для Америки, а для ее врагов (феодалов и более древних), а наш гений — современный, плебейский. Но вы могли бы вдохнуть свое живое дыхание в легкие нашего Нового Света, не для того, чтобы поработить нас, как ныне, но для пробуждения духа, подобного вашему, нужного нам, чтобы мы могли (не дерзновенно ли об этом мечтать?) подчинить себе и даже разрушить то, что вы оставили нам? На ваших высотах и с вашим размахом — но только еще выше и шире — мы шествуем здесь и теперь! Мне нужно могучее племя вселенских бардов с неограниченной, неоспоримой властью. Явитесь же, светлые демократические деспоты Запада!

Такими беглыми чертами мы отметили, в своем воображении, что такое настоящая литература той или иной страны, того или иного народа. Если сравнить с нею кипы печатных листов, затопивших Америку, то, по аналогии, они окажутся не лучше тех морских областей, где движется, вздымаясь и волнуясь, густая масса мелкой рыбы, среди которой плавают питающиеся ею киты, наполовину высунувшие из воды свою голову.

И однако, без сомнения, наша, так называемая, литература (подобно беспрерывному потоку разменной монеты) выполняет известную, быть может, необходимую службу (служба подготовительная: подобно тому, как дети учатся читать по складам). Всякий что-то читает, и чуть ли не всякий пишет — пишет книги, уча-

ствует в журналах и сборниках. В конце концов, и эта литература грандиозна по своему. Но идет ли она вперед? Подвинулась ли она вперед за все время своего существования?

Есть что-то внушительное в этих больших ежедневных и еженедельных изданиях, в горах белой бумаги, нагроможденных по кладовым типографий, и в могучих, грохочущих десятицилиндровых печатных машинах, на работу которых мне любо во всякое время смотреть и смотреть, остановиться и смотреть полчаса.

Хотя Штаты в области литературного творчества не создали ни одного великого произведения, ни одного великого писателя, нашими авторами все же достигается их главная цель — забавлять, дразнить, помогать убиванию времени, распространять новости и слухи о новостях, складывать рифмы и читать эти рифмы, — этим заняты они до бесконечности. В наши дни, при соревновании книг и писателей, особенно романистов, успех остается за тем (или за той), кто бьет на пошлость, на потребность сенсаций, приключений, происшествий, зубоскальства и т. д., кто описывает, применительно к среднему уровню, чувственную внешнюю жизнь. У таких (у самых удачливых) — бесконечное множество читателей, доставляющих им изрядную прибыль. Но число этих читателей уже перестало расти. А у авторов, изображающих внутреннюю, духовную жизнь, хоть и немного читателей (которые к тому же вяловаты), но за то их число неизменно. По сравнению с прошлым, наша современная наука парит высоко, газеты несут свою службу, а литература (подлинная романтическая) не движется вперед. Взгляните на груду современных романов, рассказов, театральных пьес и т. д. Все та же бесконечная цепь хитросплетенных и выспренних любовных историй, унаследованных, повидимому, от старых европейских Амадисов и Пальмеринов XIII, XIV и XV в.в. Костюмы и обстановка приноровлены к настоящему времени, краски более горячие и пестрые, драконы и людоеды изгнаны, но самая суть не изменилась, все та же чувствительность, деланность — ни хуже, ни лучше.

Где же причина того, что в наше время, в нашей стране, в нашей литературе, особенно в поэзии, не видно ни наших здешних природных сил, ни нашего здоровья, ни Миссиссипи, ни дюжих людей Запада, ни южан, ни умственных явлений, ни физических.

Вместо этого, целые пригоршни франтов, разочарованных в жизни, и бойких, маленьких, заграничных господ, которые затопляют нас своими тонкими салонными чувствами, своими зонтиками, романсами и щелканьем рифм (пятисотая категория ввоза). Они вечно хнычут и ноют, гоняясь за какой-нибудь недоношенной мечтой, и вечно заняты катаральной любовью с разными катаральными женщинами.

Величайшие события революции, бурные исторические страсти проносятся с невиданной стремительностью над всеми континентами (в том числе и над нашим), дают новый материал, открывают новые дали грандиозных запросов и нужд, зовут к дерзновенному созиданию новых литературных идей, ими вдохновленных и рвущихся к высшему искусству (это только другое название для служения Богу и человечеству). И где же тот автор, та книга, которые отказались бы следовать по старой проторенной тропе, повторяя сказанное раньше, не опасаясь, что книга не даст барышей, а писателя не сочтут образованным и элегантным?

Существование нашего природного, самобытного духа должно сказаться в наших будущих писателях и поэтах, в личностях всех американцев, мужчин и женщин, на всем протяжении Штатов, в великолепных самобытных картинах, в усовершенствованиях языка, в песне, в опере, в красноречии, в проповедях, в архитектуре, и, наконец, в величественной религиозной Демократии, которая решительно захватит власть, растворит все старое, сравняет поверхности и перестроит общества согласно своим внутренним, жизненным принципам.

Ибо мало кто замечает, каких глубин (действительно, глубин) достигла Америка, типичная страна прогресса и веры в человека; эту веру не в силах сломить ни-

какие заблуждения и пороки. Весь мир, очевидно, думает, — да и мы думали тоже, — что Америка создана исключительно для того, чтобы провести в жизнь равноправие и систему выборного управления, освятить уважение к труду, сделаться страною практической деятельности, прочного закона, порядка и всеобщей зажиточности. Бесспорно, все это входит в задачи Америки, но все это далеко не исчерпывает понятия прогресса. Напротив, это только основа другого, высшего, более глубокого прогресса. Она — дочь физической революции и мать революций духовных; искусство есть также ее порождение. Не изменился бы дух, перемены внешние не имеют значения.

Помню, мальчиком, я часто слыхал толки стариков о независимости [1]). Что такое независимость? Свобода от всяких законов и ограничений, кроме законов собственного существования, ограничения законами всеобщими. Что может быть законом для страны и для людей, как не собственная их душа, самобытная, рожденная с ними, свободная, носящаяся в высях своими путями, верная только себе?

В наше время чужие страны вполне владеют теологией и социальными идеалами Штатов (а, ведь, социальные идеалы важнее политических учреждений). Мы видим, как сыны и дочери Штатов все еще привозят из чужбины далекое, случайное, дробное, мертвое, даже не зная о существовании своего родного, близкого и всеоб'емлющего, не зная о существовании Гения Нового Света. Мы видим Лондон, Париж, Италию—только не в подлинном виде, не в их самобытном величии, а жалкую подделку, затасканную второсортную копию. Перед нами кусочки, отрезки евреев, римлян, греков; но где же мы можем увидеть Америку, на ее собственной почве, в истинном, высоком и гордом ее выражении? Иной раз я вопрошаю себя: да есть ли у нее угол в ее собственном доме?

---

[1]) Это были толки о независимости Соединенных Штатов от британской короны.

... Не желая наносить оскорбления мыслительным способностям читателя (если он проникся атмосферой этих „Будущих путей Демократии“), я не стану доказывать, почему изделия наших известных и неизвестных писак-рифмоплетов не соответствуют нуждам и державному величию нашей страны. Америке потребна смелая, современная, всеоб'емлющая и космическая поэзия, подобная ей самой. Такая поэзия не только не может чуждаться науки и современности,—она должна вдохновляться ими. Она должна смотреть в будущее гораздо больше, чем в прошлое. Подобно самой Америке, она должна отнестись с полным уважениям к лучшим примерам былого, затем окончательно освободиться от них и полагаться только на себя, на создания своего демократического духа. Подобно Америке, она должна развернуть в авангарде и, несмотря ни на что, высоко и смело держать знамя божественного достоинства человеческой личности (краеугольное основание новой религии). Слишком долго нация внимала поэмам, в которых униженный простой человек униженно склоняется пред высшими. Не Америке внимать этим песням. Пусть в песне чувствуется не согбенная, а гордо расправленная спина, уважение человека к себе самому,—и к этой песне Америка с отрадой приклонит ухо.

Да и настоящее золото, и драгоценные камни, когда, наконец, они явятся в мир, явятся отнюдь не там, где их ждали. Пока-что юный гений американской поэзии, чуждаясь утонченных, заграничных, позолоченных [1]) тем, всяких сантиментов и мотыльковых порханий, приятных правоверным издателям, и вызывающих спазмы умиления в великосветских кружках, ибо можно быть спокойно-уверенным, что эти темы не раздражат нежной кожицы самой деликатной, паутинной изысканности,— юный гений американской поэзии спит далеко от нас, по счастью, еще не замеченный никем, не изуродованный никакими кружками, никакими писателями по во-

---

[1]) В подлиннике—„золотообрезанных“, „с золотым обрезом“. Намек на роскошные издания с позолоченными краями листов.

просам искусства, ни говорунами, ни салонными критиками, ни профессорами—и спит в стороне, нисколько не заботясь о себе,—в каких-нибудь западных крылатых словах, в поговорках туземцев Мичигана и Тенесси, в речах, произносимых на воздухе, с какого-нибудь древесного пня, или в Кентукки, в Джорджии, в Каролинах, спит в жаргоне, в местной песне и словечках мастерового из Манхаттана, Бостона, Филадельфии и Балтиморы,—или выше, в Мэнских лесах, или в хижине калифорнийского рудокопа, или за Скалистыми горами, или вдоль Тихоокеанской железной дороги, в сердцах у молодых фермеров северо-запада, или в Канаде, или у лодочников, плавающих по нашим озерам. Эти гряды и грубы, и жестки, но только на такой почве и от таких семян могут приняться и со временем распуститься цветы с настоящим американским ароматом и созреть наши, во истину наши, плоды.

Было бы явным позором для Штатов, было бы позором для всякой нации, обладающей столь большими пространствами, многообразными дарами природы, изобретательностью и великолепной практичностью жителей, еслибы эта страна не стремилась превзойти другие страны самобытным стилем в литературе и искусстве, собственными шедеврами в художественной и умственной области, прототипами, отражающими ее самое. Нет страны, кроме нашей, которая хоть как-нибудь не проявила бы себя. У шотландцев есть свои баллады, в которых до тонкости отразилось их прошлое и настоящее, целиком сказался их характер. У ирландцев — свои. У Англии, у Италии, у Франции, у Испании — тоже. А у Америки? Повторяю опять и опять: не видно даже первых признаков, что в ней рождается собственный творческий Дух, могущий дать великие творения.

А между тем, у нее есть богатейший сырой материал, о котором другие народы не смели и думать. В Четырехлетней войне скрыты целые россыпи золотой руды, целые залежи эпики, лирики, повести, музыки, живописи и т. д.

Не пройдет и ста лет, в Америке к двухсотлетнему юбилею Штатов будет насчитываться до сорока или до пятидесяти Штатов, в том числе Куба и Канада. К концу этого столетия [1]) наше народонаселение возрастет до шестидесяти-семидесяти миллионов. Весь Тихий Океан будет наш. Благодаря электричеству мы будем в ежедневном общении со всеми частями мира. Что за век! Что за страна! Где другая, столь же грандиозная? Всегда в истории дух одной какой-нибудь страны указывал дорогу всему миру. Можно ли еще сомневаться, какому народу суждено быть вождем? Помните, что только могущественный, самобытный, никому не подчиненный дух может доблестно выполнить эту задачу,— и выполнял ее в течение прошлых веков.

(В „Будущих Путях“ есть другое название для этого Духа: Литература). Прянем вперед на сто лет и окинем взглядом художественное творчество, поэзию и философию Америки, после того, как сбудутся все пророчества, и лучшие идеалы осуществятся. Многое, что нам и не снилось, может быть, станет обычным, пышно и роскошно расцветет. Художественное и литературное творчество станет богато, могуче и поставит во главу угла не только элегантность, не только ученость, а человеческую личность, характер. Крепкая дружба, тесная сплоченность товарищей, личная, страстная привязанность человека к человеку, вот чувства, на которых основаны идеалы и заповеди мудрейших спасителей всех стран и веков. Когда эти чувства войдут в наши нравы, в нашу литературу, когда они будут развиты, взращены, общепризнаны, они станут главной опорой наших будущих Соединенных Штатов. Мускулистая жизнерадостность, вера, чувство здоровья al fresco должны быть непременными условиями для подготовки будущих американских писателей. В великом писателе не может быть и тени тайной, мрачной, сатанинской, злонамеренной мысли, никаких порочных наклонностей, никаких унылых, унаследованных от пуритан представлений об аде.

---

[1]) Т. е. к 1900 году.

Великий писатель должен отличаться от других людей своей веселой простотой, любовью ко всему, что естественно, безграничной верой в Бога, преклонением перед божественной силой и полным отсутствием скуки, сомнения, шутовства, балагурства; также ему совершенно чужда погоня за изменчивой и вычурной модой.

Даже религиозное пылание души имеет в себе нечто животное. Но нравственная совестливость, прозрачная как кристалл, без единого пятна, не только божественная, но и вполне человеческая, вечно вызывает изумление, чарует. Велико чувство эмоциональной любви даже в порядке рациональной вселенной. Но если применять сравнительную оценку вещей, станет ясно, что есть Нечто еще более высокое. Могущество, любовь, поклонение, промышленность, творчество, гений, эстетика, даже в своем чистом виде, не выдерживают сравнения с ним и оказываются—при сколько-нибудь строгом анализе—преходящей и ненужной суетой. И тогда бесшумной, легкой поступью приближается хозяин мира, солнце, владыка, последний, величайший идеал. Мы называем его правом, справедливостью, истиной, но все это лишь бледные намеки; ибо мы не в силах описать его полностью. Для людей неглубоких и суетных оно остается сном, или, как они выражаются, „только идеей". Но для мудрого оно не сон, а высшая и, может быть, единственная в мире реальность. В материальном мире аналогией справедливости, правосудия, права является то, что связывает воедино весь мир, все предметы в нем, то, что уверенно и спокойно руководит его вечной динамикой. Если этого нет, или если вы станете систематически уклоняться от этого в жизни, в социологии, в литературе, в политике, в делах и даже в проповедях, то создастся бездна, губительная трещина, создастся пятно, и, как бы ни была сильна наша цивилизация, ей нет спасения от этого пятна. Она погибнет от него непременно, как погибли от него все цивилизации в мире.

Современная литература великолепно удовлетворяет некоторым потребностям толпы. Она изобилует знаниями. У нее бойкий язык. Но в корне своем она нездорова,

глубоко извращена, и даже ее веселость проявляется как-то болезненно. Она должна подняться до уровня Природы, отразить Природу в себе, отразить самую сущность Природы и послужить мировым идеалам. Если посмотреть широко, то вопрос о Природе тесно связан с вопросами религиозного, эстетического и эмоционального порядка и с вопросом о человеческом счастье. Пусть только люди будут правильно рождены и воспитаны, пусть и в домах, и вне домов их окружает деятельный, гармонический быт, и, мне кажется, им больше ничего не потребуется, они почувствуют, что самое их существование — радость, и во всех своих отношениях к небу, к воздуху, к деревьям, к воде, ко всем самым заурядным вещам, откроют счастье и будут почерпать это счастье из самого факта жизни, и день и ночь все их Существо будет проникнуто таким благотворным экстазом, пред которым ничтожны все радости, доставляемые богатством и забавами. Даже умственные наслаждения, даже те наслаждения, которые даются наукой и искусством, не могут сравниться с этим благотворным экстазом.

Предсказываемая нами литература этих Штатов (а читатель не поймет самой сути моих размышлений, если от него ускользнет моя главная мысль, что новая Литература, быть может, новая Метафизика и несомненно новая Поэзия послужит единственной опорой, наиболее совершенным выражением для американской Демократии), эта литература должна вернуть так долго отсутствовавшую Природу, истинную Природу, истинную идею Природы, — она должна обновить и расширить ту атмосферу, в которой создаются поэмы, и явиться новым мерилом для оценки высоких литературных и художественных произведений. Я говорю не о гладких тропинках, не о подстриженных кустиках изгороди, не о букетиках и соловьях английских поэтов, — но обо всем земном шаре, со всей его геологической историей, о космосе, несущем и снег, и огонь, бегущем по безграничным пространствам, легком, как перышко, хотя он и весит биллионы тонн.

Далее: мы обычно именуем Природой лишь то, что доступно физическому нашему сознанию, материальному чувству, что относится к животному здоровью организма. Но следует твердо помнить, что на почве этих физических благ у человека, сверх того, создается нравственное и духовное сознание, указывающее ему его назначение за пределами осязаемого и преходящего.

Поднявшись до этих высот понимания Природы и дыша чрезвычайно разреженным воздухом, мы смотрим отсюда на Будущие Пути Демократии. Наша литература должна быть основана на метафизике: метафизика дает окраску всему. То, что, по крайнему моему разумению, называется идеализмом, может дать нам некоторые указания, по каким путям должна идти в своих поисках истины метафизика нашего Нового Света, в какой мере она нужна и желанна. Конечно, избегая крайностей, следует руководиться не только Идеализмом, но и воззрениями противоположного свойства. Возвышающие душу идеи непознаваемого и ирреального должны быть властно двинуты вперед, ибо они законные наследники познаваемого и реального, и, по меньшей мере, столь же велики, как их родители. Открыто, не страшась никаких издевательств, займем свои позиции и, не покидая той почвы, которая у нас под ногами, окажем сопротивление зазнавшемуся реализму, раздувшемуся до чрезмерных, уродливых форм.

Братья и сестры! пусть в ответ на победные клики, прославляющие чувственный мир, науку, плоть, наживу, барыши, фермы, товары, логику, интеллект, опыт, постоянную преемственность форм, здания из кирпича и железа, и даже деревья, землю, скалы и т. п.,—пусть из глубины ваших душ, созерцающих истину, твердо и бесстрашно прозвучит: иллюзия! вымысел! призраки!

Мы не будем осуждать эти призраки, этот видимый мир, мы не станем его отрицать, ибо он значителен и важен, мы не в силах от него уйти. Но возносясь душой к тому, что мы считаем высшим и духовным воззрением на мир, мы ясно видим, как неизбежно отпадает и исчезает все, что при настоящих условиях казалось ощутимым, осязаемым.

Я с радостью приветствую океаническую, многообразную, напряженную практическую деятельность, жажду фактов или даже коммерческий материализм наших нынешних Штатов. Но горе тому веку, той стране, где эти явления и тенденции ограничиваются сами собой и не порождают идей. Как топливо питает огонь, как огонь питает небеса, так и богатство, и наука, и материализм и даже демократия, которая нам столь дорога, должны, не уклоняясь, питать высший разум, душу. Ибо бесконечен полет и неисчерпаема тайна. Человек, такой маленький, вдруг становится больше вселенной, состязается с пространством и временем, побеждает и пространство, и время, если в душе у него есть хоть одна великая идея.

Так—и только так—поднимается человеческий дух и все его существо над об'ективной природой, которая, может быть, сама по себе, есть ничто, но здесь, в этих обстоятельствах, невероятно и божественно полезна, необходима, реальна. Задачи и цели об'ективной природы, несомненно, таятся здесь, здесь же таятся задачи и цели этого нашего земного шара, и всего многообразия его явлений, и дневного света, и ночной темноты, и самой жизни, и всего, что эта жизнь дает. Где же, как не здесь, великая литература и, особенно, великая поэзия должны заимствовать и свои вдохновения, и свою животрепещущую кровь? И когда это случится, мы достигнем поэзии, которая будет достойна бессмертной души человеческой. Это будет такая поэзия, которая впитает в себя все материалы Природы, весь видимый мир, и сделается—прямо и косвенно—освобождающей, всерасширяющей, религиозной, и с экзальтацией восприимет науку, оплодотворит моральное чувство, подвигнет нас на созерцание неведомого и на стремление к неведомому. Путь к достижению этого все еще неровен и странен, и хотя о нем можно догадываться, но точно определить его нельзя. Созерцание, сопоставление вещей; интуитивное восприятие явлений и форм Природы; чувственное великолепие мира; все, что есть красивого в ныне живущих мужчинах и женщинах, подлинная игра страстей в истории и современной жизни,

и, главное, развитие силы в Природе и человеческой личности, столь драгоценное для артистического чувства, — вот из чего поэт и вообще художник, работник в любой эстетической области, божественной магией своего гения творит литературу и искусство, создавая по аналогии подобные же явления и формы. (Здесь я, конечно, имею в виду не потуги смертного разума воспроизвести материальную действительность путем бездушного фотографирования жизни). Я говорю о способности создавать новые образы, которая равносильна сотворению нового мира, а пожалуй, и выше его. Только эта способность, — конечно, при наличности всяких других, — только она одна вдохнет в произведение искусства дыхание жизни и сделает его идентичным.

„Главный вопрос“, — сказал библиотекарь Конгресса в докладе с'езду по Социальным Наукам в Нью-Йорке, в октябре 1869 г., — „главный вопрос, который можно задать по поводу каждой книги, — это: принесла ли она пользу хоть одной человеческой душе?“ Вот руководящая нить для всякого большого писателя, для его книги, а также для всякого большого художника. Охотно допускаю, что о произведении искусства нужно судить раньше всего со стороны чисто-художественной, определить, талантлив ли автор в создании образов, есть ли у него драматический и живописный талант, хорошо ли он построил свою фабулу, есть ли у него дар благозвучия. Может быть, все это нужно, но если произведение искусства, притязает на то, чтобы быть великим произведением искусства, мы должны со всей строгостью вникнуть, проявляются ли в нем, излучаются ли им (не прямо, а косвенно) этические принципы, и могут ли эти произведения освобождать, поднимать, расширять.

.... Смерть не конец, а — начало. Ничто никогда не может ни пропасть, ни умереть, — ни дух, ни материя, ничто.

В будущих наших Штатах должны явиться непревзойденные, огромные поэты и написать великие поэмы о смерти. Поэмы о жизни велики, но необходимы по-

эмы и о том, что за пределами жизни, о той цели, к которой стремится каждая жизнь, когда она переходит за грань бытия. Я славил Гомера и великих певцов Иудеи, Эсхила, Ювенала, Шекспира. Я говорил о их неизмеримой ценности. Но (быть может, кроме иудейских певцов) для будущих нужд демократии должны явиться (дерзну ли сказать?) поэты, превосходящие их, с религиозным пыланием и самозабвением Исайи, с роскошным эпическим даром Гомера, с шекспировой силой в создании могучих характеров. Но этого мало. Они должны встать в соответствие с формулами Гегеля и выводами современной науки.

Вера, старая вера, отвергнутая нынешней наукой, должна быть той же наукой восстановлена вновь. Наука придаст этой восстановленной вере новую, еще более обширную власть, захватывающую такие глубины и выси, о которых и не мечтали былые религии. Не может быть, чтобы эта всемирная скука, этот низменный страх, это жалкое трепетание перед смертью, эти мелкие, постыдные мнения — чтобы и в будущем они управляли духовною жизнью общества, как они управляют нашей жизнью теперь.

То, что так благородно, но неумело и слепо пытался осуществить римлянин Лукреций для своего и для последующих веков, во что бы то ни стало должно быть осуществлено кем-нибудь из будущих великих писателей и, главным образом, великих поэтов. Такой поэт, оставаясь поэтом, тем не менее восприметь все, что даст наука и, придав ей спиритуалистический смысл, силою гения создаст великую поэму о смерти. Тогда человек, во всеоружии науки, con amore, встанет лицом к лицу с Природой, с временем и пространством, займет должное, уготованное ему в жизни место, — хозяин своего несчастья и счастья. Тогда сбудутся давние чаяния, и корабль, который носился по морю без якоря, наконец-то обретет этот якорь.

Есть и другое, что необходимо и ценно, для возникновения великих литературных творцов.

Вечно живущее в человечестве интуитивное сознание справедливости, пристойности, мужества и т. д., под-

держивает равновесие в социальном и политическом мире гораздо лучше, чем законы, полиции, договоры и страх наказания. Этот постоянный регулятор, контроль и надзор есть для демократии sine qua non. И высочайшая и широчайшая цель демократической литературы заключается в том, чтобы развивать, укреплять и усиливать это сознание в остальных людях и в обществе.

Мощное господство высших человеческих стремлений над низшими должно получить от писателя хоть и косвенную, но неуклонную помощь: писатель должен способствовать созданию сильных и страстных личностей, сильных и страстных обществ; этим могучим телам обеспечен могучий дух, властно управляющий ими.

Наша страна, вмещающая в себе много всего, приемлющая все, ничего не выбрасывающая, таит в своей груди и то пламя, на котором она может сгореть, которое может уничтожить нас всех. Как ни коротка еще наша национальная жизнь, но разрушение и смерть не раз уж надвигались на нас, и нет сомнения, что, если даже мы их прогоним, они будут угрожать нам опять и опять. Будущие века, быть может, не узнают, но я знаю, что во время последней междоусобной войны наша Национальность не раз и не два была совсем близко, на волосок от гибели. В ней, как в корабле во время шторма, заключались все наши надежды, все ценности, все самые лучшие жизни. О! только подумать об этом! особенно, о нескольких страшных часах. Об агонии и кровавом поте! О тех острых, жестоких и отчаянных кризисах! И даже сегодня, среди этих вихрей, при невероятном легкомыслии всех, когда всюду безверие, слепая партийная ярость, нигде ни одного сколько-нибудь выдающегося вождя, вожака, а те массы, которые у нас перед глазами, так непомерно вульгарны и низменны, — а рабочий вопрос, внезапно открывшийся, подобен зияющей бездне, которая с каждым годом все шире, — что же при этих условиях может быть у нас впереди? Мы плывем по опасному морю, где столько водоворотов и кипящих течений, иные из них глубоко сокрыты, иные сшибаются, стал-

киваются, и вокруг темнота, неизвестность, и куда повернуть?

Словно Всемогущий развернул перед нашим народом ослепительные, как солнце, свитки наших верховных судеб (где все же записаны и глубоко сокрытые немощи, и множество всяких человеческих болячек и язв), развернул и сказал: „Взгляни! Единственный долгий путь для твоего развития полон страшных препятствий и бурь. Ты сказал себе в своей душе: я буду царствовать над царствами, я превзойду все народы, былые и нынешние. Я далеко оставлю за собою историю династий и завоеваний старого мира, как не стоющую внимания, ничтожную. Я начну новую историю, историю демократии, перед которой прежняя покажется карликом. Во мне одном широта и завершение времен“.

Если такова, о, американские страны, та награда, которой вы жаждете, если таково хотение вашего сердца, да будет так. Но знайте, что это дается не даром, цена будет огромная, как вы уже испытали отчасти. Не думаете ли вы, что ваше величие созреет для вас, как груша. Нет, если вы жаждете величия, — вы должны завоевывать его в течение целых эпох и веков, заплатить за него такую же великую плату. Ибо в вас, как и во всяких странах, есть и усобица, и предатель, и лукавый правитель, и золотушное богатство, и пресыщенная роскошь, и демон алчности, и преисподняя страсти, и упадок веры, и всякие препоны и задержки, и летаргия до окаменения, и беспрестанная потребность в революциях, и пророки, и грозы, и смерти, и рождения, и новые явления идей и людей, дающих вам силу и жизнь.

Однако, когда я, размышляя, пытался постичь наш неясный и сокрытый жребий, таинственная разгадка которого откроется в далеких веках, мне померещилось то, о чем я уже смутно говорил: дружина храбрых, верных, небывалых, вооруженных с ног до головы, отдаленных друг от друга разными эпохами и Штатами, на севере, на юге, на востоке, на западе, у Атлантического океана, у Великого, в Южных и Канадских морях — нынче здесь, на этот год или на это столетие,

а в другое столетие — там, но всегда сплоченный, единодушный союз, союз, оберегающий совесть, многообразно запечатлевающий Бога, союз вдохновенных создателей, творящих не одну литературу (которая есть величайшее из наших искусств), но творящих всякое искусство, новый неумирающий орден, новая династия, переходящая от эпохи к эпохе, дружина, сословие людей, которые так же готовы встретить грудью проносящиеся годы, померяться силами с нашими невзгодами и нуждами, как и те, которые в клобуках или в военных доспехах так долго и так славно хранили, блюли, осеняли величием далекую, феодально-церковную эру. Этим бесчисленным исчезнувшим рыцарям, ветхим алтарям, абатствам и священникам, векам и целым гроздьям веков наступила новая смена; возникло более рыцарственное, более священное дело, которое требует от Нового Света более высокого подвига, который не только сравняется с подвигами прошлых эпох, но превзойдет и затмит их.

Теперь, когда я взошел, наконец, на вершину своих „Будущих Путей Демократии“, я должен сознаться, что вера в возможность такого ордена или сословия — нового великого литературного ордена — была основой всех моих суждений, и все остальное, все частности зиждутся на ней, как верхние этажи дома на нижних. Эти условия необходимы не только для нашего дальнейшего национального и демократического развития; здесь вопрос всего нашего существования.

Проектируя эти будущие дни, о скорейшем наступлении которых не заботится у нас никто, проектируя этот будущий орден художников, — отмечая бесконечную цепь всяческих развитий, прогрессов, работ, составляющих самую суть нашей жизни, мы видим, мы предчувствуем, среди всех этих проектов и надежд, — новую мощь, новые законы разговорной и литературной речи, не те чинные и аккуратные формы, которые одобрены школьным учебником, которые основаны на прошлом лингвистическом опыте и созданы для внешнего благоприличия, законы изящных слов и отчеканенных

мыслей, а другие, которые обвеяны дыханием Природы и смело взвиваются ввысь; этот новый язык будет добиваться, прежде всего, максимальной динамической силы, эффектов, он попытается встать в уровень с жизнью, с душой человеческой, он будет заботиться не столько о точном наименовании вещей, сколько о том, чтобы суггестировать их и вынудить их появление. Те книги, которые мы будем читать и которые будут создаваться для нашего чтения, будут созданы не для того, чтобы их читать в полусне; чтение этих книг будет упражнением, гимнастикой, борьбой, в высшем значении этого слова. Читатель сам должен будет творить для себя, он должен быть всегда наготове; он сам будет отчасти творцом тех стихов, рассуждений, исторических и философских исследований, которые он будет читать. Читаемое даст ему только намек, только руководящую нить, только исходную точку для творчества или основные линии мыслей. Не книга должна быть законченным и цельным явлением, а ее читатель, человек. Так была бы создана нация гибких, атлетических умов, чутких, закаленных, привыкших полагаться на себя, а не на малочисленные, маленькие кучки писателей.

Таким образом, мы видим, что это не малая вещь— унаследованные нами библиотеки, книжные полки, архивы. Но они таят в себе серьезную опасность. Опасно полагаться лишь на них. Если слепо и бездейственно положиться на них, они обескровят жилы и отнимут нервы у рук. Неправильное их применение губительно. И сколько в них затасканных банальностей.

Почти все, что пели, повествовали, писали в других странах, что было связано с феодальным укладом человеческой жизни, с восточными религиями и учреждениями, должно быть написано, воспето и рассказано заново, здесь, в этих Штатах, в согласии с их учреждениями, в зависимости от их единой воли, в соответствии с их широтой. Мы видим, что так же, как в мире материального космоса, после ряда метеорологических, растительных и животных циклов, возникает, наконец, человек, порожденный ими, чтобы оправдать, сочетать

их в себе, взглянуть на них с изумлением и любовью, чтобы подчинить их себе, украсить их и возвести за собою в более высокие области, — точно так же из множества прошлых социальных и политических вселенных, ныне возникают эти Штаты. Мы видим, что, хотя многие считали порядок вещей установленным, и самые вещи законченными — все величайшее еще впереди. Работа Нового Света не только не завершена, но почти что не начата. Америка, наша страна, делается сокровищницей, хранилищем для национального мировоззрения и характера, национальных стремлений, войн, героизмов и даже свобод, и все это обретает высшее свое выражение в ее литературе и в ее искусстве, которые спасут ее от забвения в будущем. Если же у нее не будет этого самобытного высшего воплощения, она будет, как слепая, шарахаться то туда, то сюда, и, как бы она ни была велика и пышна во всяких других отношениях, все окажется быстро-скользнувшим, мимолетным лучем. Если же у нее будет своя подлинная высокая Литература, она, Америка, постигнет себя самое, она будет благородно жить и творить благородное, источать из себя благодать и при всяком сотрясении сохранять равновесие, озаряя и себя и других, и станет законченным космосом, Божественной матерью не только материальных, но и духовных миров, постоянно сменяющих друг друга в веках, ибо телесное, конкретное, демократическое, народное, заурядное главнее и ценнее всего. Это тот фундамент, на котором будет покоиться будущее.

УИТМЭН
В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Первые статьи и заметки об Уитмэне. Первая в России заметка о стихах Уитмэна появилась в январьской книге „Отечественных Записок“ за 1861 год, при чем автор заметки был простодушно уверен, что эти стихи — не стихи, а роман!

В обзоре иностранных р о м а н о в он пишет:

„Английские журналы сильно вооружаются против американского романа „Листья Травы“, Уэльт Уайтмэна, — автора, в свое время рекомендованного Эмерсоном. Впрочем, нападение относится более к нравственной стороне романа. „Он должен бы быть напечатан на грязной бумаге, как книги, подлежащие лишь полицейскому обзору“, — говорит один рецензент. „Это эмансипация плоти“! — восклицает другой. „Повидимому, автор, прикрываясь словами, что он следует философии Гегеля, идет уже очень далеко на пути отступлений от общепринятой нравственности. Но должно быть его книга имеет какое-нибудь достоинство, хотя бы достоинство изложения, если ее не прошли молчанием, а кричат о ней со всех сторон: shoking!“..

После этой забавной заметки, в течение двадцати лет в русской литературе не появлялось ни слова о Уитмэне. Лишь в 1882 году в „Заграничном Вестнике“ В. Корша (июль, том III) была переведена лекция американского журналиста Джона Свинтона о литературе Соединенных Штатов. В этой лекции Уитмэну посвящены следующие строки:

„Уолт Гуитман — космический бард „Листьев травы“. О нем существуют два совершенно противоположных мнения: одни утверждают, что он безумный шарлатан, другие — что он оригинальнейший гений. Он принадлежит к старому типу американских рабочих. Для него

жизнь — бесконечное торжество, и сам он представляется гигантским упоенным Бахусом. Для него все виды живописны, все звуки мелодичны, все люди друзья. В Англии в числе поклонников Гуитмана есть величайшие современные умы. В Германии он известен ученым литераторам более, чем кто-либо из современных американских поэтов".

Джон Свинтон был старинный приятель поэта и благоговел пред его дарованием.

Год спустя в том же „Заграничном Вестнике" (1883 г., март, VI) появилась об Уитмэне более подробная статья. Называется „Уолт Гуитман", принадлежит Н. Попову. Написанная весьма старательно, эта статья испещрена варварски-переведенными цитатами:

> Многие потеют, пашут и жнут, и потом мякину получают в награду.
> И немного бездельников постоянно заявляют претензию на пшеницу и получают ее, —

таков образчик этих переводов. Попадаются и неточности; Уитмэн, напр., говорит, обращаясь к умершему Линкольну:

> Нет, это сон, что ты умер! —

у г. Попова он как будто сообщает покойнику:

> Мне снилось, что тебя убили!

Плотничий топор, восхваляемый Уитмэном, упорно называется широким топором, и т. д. Тон у статьи восторженный: „Кто этот Уолт Гуитман? Это дух возмущения и гордости, Сатана Мильтона. Это Фауст Гете, но более счастливый, — ему кажется, что он разгадал тайну жизни; он упивается жизнью, какова она есть; и прославляет рождение, наравне со смертью, потому что он видит, знает, осязает бессмертие. Это всеиспытующий натуралист, приходящий в восторг при изучении разлагающегося трупа настолько же, насколько при виде благоухающих цветов. — Каждая жизнь слагается из тысячи смертей! — восклицает он".

Статья заметно испорчена цензурой.

Энциклопедический Словарь о Уоте Уитмэне. В „Энциклопедическом Словаре“ (Брокгауза и Эфрона) заметка о Уитмэне принадлежит г-же Зинаиде Венгеровой. Здесь он называется Вальтом Витманом, и в его поэмах, по мнению критика, — „при всей глубине отдельных частей, общая хаотическая непонятность замысла и антихудожественные приемы мало соответствуют репутации гениальности, признаваемой за автором“. Даты и указания г-жи Зин. Венгеровой не всегда верны. У Вильяма О'Коннора нет книги The Good Gray Bucke, как сказано в словаре; книга эта (скорее, крошечная брошюрка в 46 страничек) называется The Good Gray Poet. Неточно также указание на „обстоятельную статью о Витмане“ в „Заграничном Вестнике“ за 1882 г. Там этой статьи не имеется.

Некрологи Уота Уитмэна. Смерть Уитмэна, в марте 1892 года, была отмечена в русских журналах. В июньской книжке „Наблюдателя“ (в „Очерках Иностр. Литер.“) В. Зотов посвятил погибшему поэту сочувственные строки, где называет его единственным подлинным и самобытным поэтом Америки. В майской книжке „Библиографич. Записок“ напечатана краткая (и совершенно фантастическая) биография Уитмэна. В „Книжках Недели“ (1892, V, стр. 167) дана беглая характеристика Уитмэна, как „самого замечательного из северо-американских поэтов“. Озаглавлена заметка „Американский Толстой“.

Начертание имени Уитмэна в этих статьях различное. Его зовут Уайтом, Гуитманом, Вейтманом.

Дионео о Уоте Уитмэне. Известный русский корреспондент из Англии г. Дионео посвятил Уитмэну несколько хвалебных статей. Первая появилась в „Одесском Листке“ 1896 года (№ 256). Автор ставит Уитмэна выше Ницше, именует его колоссальным талантом и т. д. Фамилия поэта напечатана так: „Уаптман“.

Вторая статья Дионео „Оскар Уайльд и Уот Уитмэн“ появилась и 1898 г. в „Русском Богатстве“; впоследствии она была перепечатана в прекрасной книге этого автора „Очерки современной Англии“. В этой статье

г. Дионео указывает, что Уитмэн „несомненно, самый популярный теперь поэт английской, американской и австралийской демократии“. Сборник стихотворений поэта, по словам г. Дионео, разошелся в сотнях тысяч экземпляров. Вы его найдете в каждом коттедже, в каждой бесплатной читальне. Сущность этой книги автор видит в том, что, „исходя из эгоизма, Уитмэн проповедует самый широкий, всеоб'емлющий альтруизм“ и что носительницей этого альтруизма является демократия. „Для Уитмэна Америка и демократия одно и то же“, — говорит г. Дионео.

К сожалению, интересная эта статья не свободна от мелких неточностей.

В 1855 г. Уитмэн основал газету „Freeman“, говорит, например, г. Дионео. Это неверно. Газета была основана в 1850 году.

В 1858 году вышел сборник Уитмэна „Leaves of grass“, — утверждает г. Дионео. Это тоже неверно. Сборник вышел в 1855 г.

Статья Конуэя об Уитмэне появилась в 1866 году, а не в 1886 г. (Fortnightly Review, X). На службу в министерство внутренних дел Уитмэн поступил в 1865 г., а не в 1866 г., и т. д. Впрочем, эти мелкие промахи можно отнести к опечаткам; но напрасно г. Дионео утверждает, будто Уитмэн записался в лазарет из ненависти к убийству. В лазарет он записался, чтобы ухаживать за больным братом, а ненависти к убийству не могло быть у человека, который писал:

Я славил мир во время мира, но теперь у меня боевой барабан.
Алая, алая битва — ей мои гимны теперь.

Точно также неверно указание, будто во время войны Уитмэн познакомился с Линкольном. Встречая президента на улице, Уитмэн, как и все другие, кланялся главе государства, а тот отвечал. Едва ли это можно назвать знакомством. Существует легенда, вряд ли, к тому же, достоверная, будто однажды, когда Линкольн стоял у окна, по улице проходил Уитмэн, и будто

Линкольн сказал: „Это настоящий мужчина“ [1]). Но и отсюда далеко до знакомства.

Третья статья, подписанная литерой S., помещена в „Русских Ведомостях“ 1898 г. № 10. Там такое же восторженное отношение к поэту.

Макс Нордау об Уоте Уитмэне. Макс Нордау в книжке „Вырождение“, некогда пользовавшейся у нас в России необ'яснимым успехом, посвятил Уитмэну четыре страницы, где, как и следует ожидать, об'явил его психопатом с самыми порочными наклонностями.

„Уот Уитмэн был, несомненно, помешанный... Он был бродяга и развратник... Он страдает нравственным помешательством и не в состоянии отличить добро от зла... Уот Уитмэн страдает манией величия. Он подобострастничает пред американской денежной аристократией и падает ниц пред высокомерным янки. Говорят, что он добр, но ведь и зверский убийца Равашоль проявлял иногда доброту“ (см. „Вырождение“ Макса Нордау, изд. Ф. Павленкова. Спб. 1896, стр. 151).

Для почитателей Уитмэна этот отзыв был бы весьма огорчителен, если бы к таким же психопатам автор книги не причислил Льва Толстого, Рихарда Вагнера, Эмиля Золя, Ибсена, Матерлинка, Ницше, Суинберна, Россетти, Вильяма Мориса, — всех, кроме себя и Ломброзо.

Первый портрет Уота Уитмэна. Портрет Уота Уитмэна был напечатан впервые в „Новом Журнале Иностранной Литературы“ (1902, X, стр. 153). Там же дана краткая статья о писателе. В ней Уитмэн именуется одним из самых оригинальных поэтов Америки, внесшим в американскую поэзию новые небывалые мотивы. „Сколько лет американская литература представляла собой не более, как одну из отраслей английской, и произведения американских писателей явились лишь сколком подобных же произведений английских писа-

[1]) См. „W. W.“, by Isaac Hull Platt, pp. 52, 53.

телей“. Уитмэн положил конец этой подражательности. Транскрипция его фамилии — Витман.

Ю. Айхенвальд об Уоте Уитмэне. В „Русской Мысли“ за 1907 год (кн. VIII) Уитмэну посвящена небольшая статья Ю. Айхенвальда. Критик называет творчество поэта художественной Ниагарой и находит у него „буйство ошеломляющих слов“.

„Уитмэн — самый нестесняющийся человек в мире, — говорит г. Айхенвальд. — Он выражается так, что все мы и даже другие поэты должны устыдиться своего робкого, приличного, тепличного языка. Он имеет смелость называть вещи их именами, и вещи от этого загораются радостью и блеском. Уитмэн опьянен действительностью, и, пьяный хозяин вселенной, он идет по миру, как по улице, идет и гениально горланит... Соленое дыхание океана, раскаты приближающегося гула действуют грозно и освежительно на робкого слушателя, стоящего на берегу. Всех нас, изнуренных сомнениями, измельчавших в маленькой работе и заботе, всех нас, лилипутов духа, бодрит гениальная самоуверенность великана. И когда находишься около него, хочется и самому говорить не своим обычным тихим голосом, а громче и громче, хочется перенять его энергичную речь без лишних слов и союзов, без опостылевшей мягкости. И становится радостно и удивленно: неужели всё так просто и просторно, как рисует и поет Уитмэн? Неужели вся мудрость в том, чтобы ненасытимо ощущать жизнь? Неужели для того, чтобы быть поэтом, надо только позволить себе быть человеком?“

Интересно указание г. Айхенвальда, что в Уитмэне мы ощущаем не сына, а отца. „Огромный, громкий, титанический, он тем отличается от нас, что мы все чувствуем себя детьми, что миросозерцание у нас — детское, послушное, а Уитмэн — отец. Он забыл, что сам рожден; он не оборачивается назад и, отец, pater, державно применяет к дочери-жизни свою patria potestas“. „Уитмэн, многорождающий, идет по земле, и от широкой поступи его поднимаются роскошные побеги жизни, побеги человеческой травы“.

Уитмэн, как поэт будущего. В статье М. Неведомского „Об искусстве наших дней“ („Соврем. Мир“, 1909, IV) есть страницы, посвященные Уитмэну.

Автор хотел дознаться, какие элементы будущего искусства имеются в искусстве современном. Для этого он рассмотрел произведения Леонида Андреева, Ибсена, Рихарда Дэмеля, Эмиля Верхарна и Уота Уитмэна. У всех этих писателей автор отыскал нечто общее: все они заменяют мораль эстетико-философским пониманием жизни, выше всего они ставят человеческую личность; и все они стремятся к слиянию с космосом к универсальному миросозерцанию.

Эти три черты особенно выдаются у Уитмэна. Книга Уитмэна, по словам критика, „наиболее богатое элементами будущего поэтическое произведение, какие только писаны до сих пор“.

Жаль, что и в этой содержательной статье попадаются иногда неточности. Уитмэн умер не в 1898 г., а в 1892 году. Он не был анархо-социалистом, как утверждает г. Неведомский. В отрывках, которые при этом приводятся, очень странной кажется строчка:

И фигуру центральнее всех.

Центральность есть понятие абсолютное и сравнительных степеней не допускает.

Уот Уитмэн в романе. Прекрасные строки об Уитмэне мы встретили в „Русском Богатстве“ за 1909 год, в романе Иоганна Иенсена „Колесо“ (VII—XII, перевод Т. А. Богданович). Один из персонажей романа говорит:

„Вещи, которые мы считали скучными и низменными, теперь поют, холодная проза действительной жизни превратилась в музыку. Разговаривая, люди не подбирают ведь рифм,—это делали дикие пастушеские народы древних времен и сумасшедшие люди в наши дни, и если кто хочет превратить в музыку наше время, ему незачем пользоваться стихотворными размерами, которые соответствовали танцам в древности. Нужно разбить эту форму. Локомотив обладает собственным ритмом, и улица Чикаго звучит другим темпом, чем пастбища

в Аркадии. Но нам светит прежнее солнце, и когда нам становится тепло, мы ощущаем все окружающее, как поэзию, и пытаемся слиться со всем, что звучит вокруг. В этом задача Уитмэна. Разве вы не слышите, что он влюблен во все в Америке и что он не может не петь?.. О, это только современный человек в пиджаке и воротничке, он стоит на городском трамвае и испускает радостные крики, потому что он тут. А вы непременно хотите, чтобы у него был козий мех на плечах и колчан со стрелами, иначе вы не можете поверить ему“... („Русск. Богатство“, Июль, 1909 г.).

Кнут Гамсун об Уоте Уитмэне. Кнут Гамсун в своей книге „Духовная жизнь Америки“ (Собр. сочин., изд. „Шиповника“, т. I) уделил Уитмэну очень много страниц,—и так как это единственная (покуда) на русском языке отрицательная характеристика нашего поэта, то на ней мы остановимся подольше.

Уитмэн, по словам Гамсуна, лирически настроенный американец. Он мало или даже, пожалуй, ничего не читал (!) и почти совсем ничего не пережил (!). Язык его поэзии далеко не самый дерзновенный, не самый страстный в мировой литературе, он только самый безвкусный и наивный из всех. В этой поэзии не видно ни искры поэтического таланта. Стихи Уитмэна автор зовет каталогами, реестрами, таблицами умножения. Они восхитительны по своей неудобочитаемости. Требуется, по крайней мере, вдвое больше вдохновения для чтения этих стихов, нежели для их написания. В Уитмэне хотели видеть первого американского народного поэта. Это можно принять за насмешку.

Статья написана в милом ироническом тоне. Автор относится к Уитмэну с каким-то веселым презрением. „Если бы какой-нибудь из наших певцов демократии создал подобную поэму и принес бы ее в газету, я очень склонен предполагать, что в редакции попросили бы разрешения пощупать у певца пульс и предложили бы ему стакан воды“... но в Америке и этот смешной старикашка может сойти за поэта,—добрый, потешный дикарь!

Русский читатель, знакомый с отзывами Кнута Гамсуна о Толстом и Достоевском, знает уже, как относиться к подобным выступлениям даровитого новеллиста. Гамсун едва ли осведомлен даже в биографии Уота Уитмэна. По его, напр., сообщению, Уитмэн „почти совсем ничего не пережил". Если можно быть три года среди умирающих, перевязать десятки тысяч ран, и при этом не пережить ничего, Кнут Гамсун действительно прав, — но не забудем, что, кроме того, Уитмэн был чиновником, плотником, репортером, романистом, фермером, учителем, и что обо всем этом Гамсун тоже не сказал нам ни слова, — и мы вполне оценим его утверждение, будто „в жизни Уитмэна очень мало событий".

Уитмэн, пожалуй, ничего не читал, — продолжает Кнут Гамсун.—Но мы знаем, что Уитмэн зачитывался у себя на острове Гомером, Эсхилом, Софоклом, Нибелунгами, Оссианом, Шекспиром, „Божественной комедией". Уитмэн с восторгом вспоминал из детских времен Вальтер Скотта, „Тысячу и одну ночь". В его библиотеке были Эпиктет, Омар Хайам, Фельтон, Тикнор, Жорж-Санд. Он в юности подражал Эдгару По, называл своим учителем Эмерсона, полемизировал с Карлейлем, писал о Диккенсе, о Теннисоне, говорил о Льве Толстом и Шиллере, — все это было бы несколько трудно, если бы он ничего не читал.

Поступив чиновником в министерство финансов, Уитмэн даже ночи стал проводить за чтением; частенько пробирался он с вечера в министерскую библиотеку и, пользуясь казенным освещением, зачитывался там редкими книгами, о которых до того времени мог только мечтать (W. W. by Bliss Perry, 181).

И откуда взял Кнут Гамсун, будто „Уитмэн всегда смеялся". „Ни разу я не видел, чтобы он засмеялся или хотя бы улыбнулся", — говорит об Уитмэне Конуэй. То же утверждает и Эдуард Карпентер.

Очень вышучивает Гамсун пристрастие Уитмэна к перечислению предметов, к реестрам и каталогам, но стоит только вспомнить Фетовское „Шопот, робкое дыханье" или иные строфы из Майковского „Савонароллы", чтобы признать, что „каталоги" отнюдь не исключают поэзии.

16*

Даже самое появление „Листьев травы“ в печати кажется Гамсуну смешным. „Изумительная наивность Уитмэна соблазнила его издать свои сочинения в печати“ — говорит он. И мы можем прибавить, что изумительная наивность Суинберна, Эмерсона, Россети, Бьернстерне-Бьернсона, Фрейлиграта, Бальмонта и др. соблазнила их придти от этих сочинений в восторг.

Единственное оправдание для статьи Гамсуна то, что она написана больше четверти века назад и что сам автор „Пана“ едва ли теперь согласится хотя бы с одним ее словом. — „Это юношеская моя работа, — заявил он недавно в газетах, — она не соответствует больше моему мнению об Америке“ (см. „Речь“, 2 авг. 1910 г.).

Был ли Уот Уитмэн социалистом? В статье Максима Горького „Разрушение личности“ (Очерки философии коллективизма, 1909) неточно указание, будто, „начав с индивидуализма и квиетизма“, Уитмэн, вместе со многими другими, „пришел к социализму, к проповеди активности“ и т. д. Это явное недоразумение. Уитмэн как был индивидуалистом сначала, так и остался им до конца. Социализм был ему чужд совершенно.

— „Дела и без того идут недурно, — говорил он за пять лет до смерти, — и естественный ход вещей, пожалуй, даст лучшие результаты, чем может обещать какая-нибудь теория социализма. Слишком много шкурного себялюбия у обоих (борющихся) сторон. Душевное благородство, вот что здесь нужно. Рабочие стачки его не создадут... Пускай рабочий, кто бы он ни был, примет настоящее положение вещей и побеждает силою внутреннего благородства. Тогда всеобщее сочувствие будет на его стороне. Пусть он отвергнет все соблазны и, при самой последней крайности, не впадает в мелочность, в скаредность, пусть будет героем, и его победа обеспечена“ (Isaac Hull Platt „Walt Whitman“, 1904. p. 94—95).

Как бы кто ни относился к этой вере в естественный ход вещей и в личное самосовершенствование, ясно, что ни о каком социализме здесь говорить нельзя. „Вели-

чайший из реформаторов, Уитмэн, не связывал себя ни с одной специальной доктриной, — говорит Mr. Platt. — Реформатор духа, он одновременно включал в себе анархиста и социалиста, демократа и аристократа, но никто из этих людей не мог бы назвать его своим". Если что разросталось к концу жизни у Уитмэна, так это его мистицизм. В последних его стихотворениях (напр., в „Passage to India"), как справедливо указывает критика, преобладает мистический элемент (См. Bliss Perry „Walt Whitman"; p. 194). Так что и с этой стороны Уитмэн М. Горькому не союзник, хотя нельзя не отметить, что, руководствуясь общим духом их творчества, иностранная критика любит сближать этих двух демократических писателей, и еще недавно французский писатель Вильдрак об'явил в патетической статье, что Верхарн, Киплинг и Горький суть истинные продолжатели Уитмэна.

Вильям Джемс об Уоте Уитмэне. В книге покойного Вильяма Джемса „Многообразие религиозного опыта" (пер. с англ. под ред. С. В. Лурье, изд. журн. „Русск. Мысль", Москва, 1910) есть страницы, посвященные Уитмэну. Знаменитый американский ученый не видит в стихотворениях Уитмэна того настоящего, величавого пафоса, который был, напр., присущ древним грекам и римлянам. „В его оптимизме, — говорит Джемс, — есть что-то деланное, слишком заносчивое, в проповеди его слышна бравада и хвастливость, роняющие ее в глазах читателей, несмотря на симпатию последних к уитмэновскому оптимизму и на их готовность поставить его наряду с пророками". Эта деланность и нарочитость уитмэновского оптимизма, тем не менее, не мешает Джемсу признать за ним полнейшую искренность, ибо, по его словам, нарочитое, „сознательное поддерживание в себе душевного здоровья, как религиозного настроения, соответствует могущественным свойствам человеческой природы".

И потому правы те, кто смотрит на Уитмэна, как на воскресителя вечной религии природы. „Он заразил всех своей любовью к ближним, тем счастьем, какое

он находит в одном факте своего и их существования. В честь его учреждается ряд обществ, существует периодический орган для пропаганды этой новой религии, где есть уже и своя ортодоксия, и свои ереси. Уже есть подражания его оригинальному стихосложению. Его открыто сравнивают с основателем христианской религии и не всегда в пользу последнего" (стр. 75—79).

Об Уитмэне же говорится и в другой книге Вильяма Джемса — „Прагматизм", напечатанной по-русски в том же году, что и первая. (Перевод П. Юшкевича, изд. „Шиповник").

Джемс пытается об'яснить аудитории поэму Уитмэна „Тебе":

„Это изящное стихотворение, — говорит Джемс, — производит, разумеется, огромное впечатление, но есть два различных способа рассматривать его, и оба имеют свои преимущества".

Одно толкование может быть таково: чем бы ты ни казался извне, в сущности твоей ты всегда прекрасен и счастлив, — и пускай такая философия квиетизма зовется духовным опиумом, пускай она ведет к безразличию, Джемс готов приветствовать ее, „ибо за ней стоят многочисленные, оправдывающие ее исторические факты".

„Другие толкователи увидят здесь воспевание тех прекрасных качеств, которые имеются в каждом из нас, вопреки всем нашим недостаткам: забудемте все низкое в себе самих, станем думать только о высоком, сольем свою жизнь с ним, и тогда через гнев, несчастия, невежество и скуку проложит себе дорогу то, что мы сами создаем из себя, то, чем мы собственно и являемся в глубочайшей своей сущности".

„С какой бы из этих двух точек зрения мы ни рассматривали разбираемое стихотворение, каждая из них ободряет нас, внушает нам верность самим себе. Оба эти способа дают удовлетворение; оба они освящают человеческую жизнь. Оба рисуют портрет „Всякого" на золотом фоне".

Уот Уитмэн и К. Д. Бальмонт. Бальмонт посвятил Уоту Уитмэну несколько прекрасных статей:

1) В „Весах" 1904, VII — „Певец личности и жизни".

2) В „Перевале" 1907, III — „Поэзия борьбы" („Идеализованная демократия"). Вместе с предыдущей статьей, перепечатана без изменений в книге „Белые Зарницы" Спб. 1908.

3) В „Морском Свечении" 1910, стр. 167. — „О врагах и вражде".

4) В предисловии к книге „Уольт Уитмэн. Побеги травы". Книгоиздательство „Скорпион". М. 1911 г.

В первой из этих статей Бальмонт прославляет Уитмэна за то, что он поэт радости. Все другие гении кажутся ему певцами печали и боли: Шекспир и Данте, Гёте и Байрон, Лев Толстой и Достоевский; лишь Уитмэн, да еще Шелли, были истинными воспевателями радостной жизни.

„Поэт с телом гладиатора, — пишет г. Бальмонт, — с гармоничным лицом красивого зверя, полного природных сил, Уитмэн был одним из тех отошедших первородных людей, которые проводили целые дни, недели и месяцы в лесах и степях"... „Религия Уитмэна — космический энтузиазм".

К сожалению, мы должны указать, что эти эффектные строки г. Бальмонту почти не принадлежат. Есть маленькая книжка John Addington Symonds'a: Walt Whitman, a Study, и в ней читатель встретит последовательно и тело гладиатора (14 стр.), и первородных людей (стр. 17), и космический энтузиазм (стр. 57).

Так что напрасно г. Неведомский в своей статье об Уитмэне пишет:

„Бальмонт метко определяет религию этого странного поэта, как „космический энтузиазм".

И г-жа Елена Ц. напрасно пишет в „Весах":

„Бальмонт дает нам красивую, сжатую, точную формулу миросозерцания Уитмэна: „религия Уитмэна — космический энтузиазм".

Эти комплименты, конечно, относятся к Саймондсу, и г. Бальмонт их принимает напрасно. Вообще, вся статья

поэта написана под сильным влиянием Саймондса, которого он почему-то не упоминает в ней ни разу.

Вот образчики этого „влияния“:

Саймондс. 1893 г.	Бальмонт. 1904 г.
„Он — необ‘ятное древо, древо Игдразиль, запустившее корни глубоко в самые недра земли и развернувшее сказочную свою вершину во всю бесконечность неба“ (стр. 156).	„Сказочное древо Игдразиль, чьи ветви охватывают мир, и чьи корни в подземном царстве, и чья зеленая вершина в бесконечном небе“ („Весы“, стр. 32).
„Уитмэн рассматривал ее (демократию) не только как политическое явление, а, главным образом, как форму религиозного энтузиазма“ (стр. 108).	„Демократию Уитмэн рассматривает, главным образом, не как политическое явление, а скорее как форму религиозного энтузиазма“ (стр. 21).
„Выделять из себя магнетизм... тем, что ты силен, здоров и свободен“ (стр. 74).	„Каждый выделяет из себя магнетизм тем, что он силен, здоров и свободен“ (стр. 21).

Саймондс говорит о той ветке сирени, которую поэт возложил на гроб Линкольна. Сирень по-английски — lilac; г. Бальмонт, списывая впопыхах, принял lilac за лилию, и у него получился „лилейный куст“! Лилия, растущая кустарником! — рискованная ботаника. И что это за первородные люди, с которыми сравнивает Бальмонт поэта? У Саймондса просто сказано: первые люди, пионеры. Так американцы называют своих предков, первых выходцев из Европы, поселившихся среди первобытных американских лесов. Первородные же люди здесь не при чем. Но, несмотря на такие из’яны, статья Бальмонта очень значительна: в ней до двадцати стихотворных отрывков из Уитмэна, и ей многое можно простить за ее неподдельную восторженность.

Во второй статье К. Д. Бальмонт изображает Уитмэна, как поэта революции, и снова приводит очень много отрывков из его впервые переведенных стихов. В третьей статье Уитмэн трактуется как поэт мира и войны. В 1911 г. вышла книга Бальмонта: „Уольт Уитмэн. Побеги травы“. Там, между прочим, мне встретились такие стихи:

Оружье нагое и стройное, синевата его белизна,
Из глубин материнского чрева голова его взнесена,

Плоть из древа и кость из металла, член один и губа лишь одна,
Серо-синий лист в красном жаре возрос, рукоятка же семенем малым дана,
Лежит на траве, и трава под ним склонена,
В нем упор и в нем опора дана.

Что это? Ужели это Уитмэн? Это пьяный какой-то графоман. Если Уитмэн таков, то к чему его переводить, а если он не таков, то как смеет г. Бальмонт так издеваться над ним? Про какой здесь говорится „член“? [1]). Про какую „губу“? И что за металл — костяной? И какое „чрево“? И „древо“?

Об Уитмэне говорили, будто он сказал слово, которое на устах у Самого Господа Бога, — неужели у Господа Бога на устах такие скверные, косноязычные слова!

Я помню эти самые строки в подлиннике. Ими Уитмэн воспевает топор. И они у него ударные, отрывистые, крепкие, — именно как работа топора:

Weapon shapely, naked, wan...
Тá-та, тà-та, тà-та, тà!

Так и слышишь лихое стучание по дереву. А у Бальмонта до чего уныло, похоронно, зевотно, — и, главное, как косноязычно. Пихает тебе в рот какую-то вату — жуй без конца, через силу, и рад бы не жевать, да нельзя, глотаешь до потери сознания:

Сильные формы и свойства сильных форм, мужские ремесла, звуки и зрелища.
Многообразное шествие, знаменья, музыка в брызгах, по клавишам,
Органист, чьи персты проскользают, играя отрывисто,
Звучит великий орган.

Может быть, это что-нибудь и значит, но не хочется вникать, разбираться, Бог с ним — скорее бы выплюнуть всю эту проклятую вату. А ее впереди еще горы и горы, ползет тебе в горло, — жуй:

Указания и зарубка времени,
Совершенная здравость (!) указует (!) на мастера (!) между философов (!).
Время всегда без перерыва указует себя в частях.

---

[1]) По-английски limb — конечность; в данном случаѣ рука; — Уитмэну топор рисуется в виде живого существа: однорукий, одногубый. А у Бальмонта: „член один и губа лишь одна“.

Я захлопнул с яростью эту графоманскую книгу, и весь день у меня был испорчен. Как будто кто надо мной насмеялся.

И не знаю, горевать или радоваться, что на лучшие поэмы американского барда переводчик даже не посягнул. Ни „Песни о самом себе“, ни „Пионеров“, ни знаменитого гимна „Тебе“ — в книге Бальмонта не имеется. А Уитмэн без этих поэм — все равно, что лицо без глаз. „Песня о самом себе“ — первое и главное его творение, все остальное — второстепенность, деталь. Уитмэн всю жизнь только и писал что комментарии и как бы примечания к этому единственному своему созданию. И Бальмонт, переводя все остальное, все вступления и послесловия, и не заметив этой сути, основы,— похож на того архитектора, который вывел бы печи и лестницы, а самого дома не выстроил. Перевод Бальмонта изобилует самыми позорными промахами. Уитмэн говорит, например, о столбцах цифр, которые писал пред аудиторией профессор. Цифра по-английски figure. Бальмонт переводит: фигура, заставляя бедного профессора выводить пред студентами не столбцы цифр, а какие-то „фигуры в колоннах“ (стр. 121).

Уитмэн говорит о женщинах, что они „умеют за себя постоять“ (they are ultimate in their own rights). Бальмонт же смешивает слово ultimate со словом ultimatum и переводит:

— Они... ультиматум умеют поставить... (39).

Как будто это не женщины, а дипломаты враждующих стран.

Право, эти фигуры в колоннах и эти ультиматумы женщин не хуже восхитительных лилейных кустов. Уитмэн говорит морской птице: „Ты — перья“, Бальмонт переводит: „ты — ветер, все ветры“ (111).

Не смешал ли он wings и winds? Так и чувствуется, что эти сумбурные строки были равнодушно и небрежно настуканы на Ремингтоне, — смаху, второпях, кое-как, — чем больше, тем лучше, и даже похоже, что переводчик ушел, а пишущая машина сама без него настукала все эти переводы. Поистине, это — машинное производство, здесь не истрачено ни капли души, и

часто случается, что переводчик даже не пробует разобраться в значении и смысле переводимого текста, а переводит механически, не понимая ни слова:

— Мы включатели всех континентов... (149). Тело ее никто не зовет (148). Дети... ртачливая основа всех улиц (153).

Конечно, и в этой сумбурной, недостойной имени Бальмонта книге выдаются проблески, — поэтичные, глубокие стихи. Приведу один перевод, который показался мне хорошим:

В задумчивости и колеблясь...

В задумчивости и колеблясь,
Пишу я слово Мертвый.
Ведь Мертвые — Живые.
(Единственно живые, может быть,
Единственно реальные,
А я — видение иль призрак).

Толстой и Тургенев об Уоте Уитмэне. Как относился к Уитмэну Лев Толстой? Об этом сообщает английский толстовец Эйльмер Мод (Maude) в книге „Толстой и его учение“.

„Главный недостаток Уота Уитмэна, — говорил Лев Толстой мистеру Моду, — заключается в том, что он, несмотря на весь свой энтузиазм, не обладает ясной философией жизни. Относительно некоторых важных вопросов жизни он стоит на распутьи и не указывает нам, по какому пути должно следовать. А между тем, ошибки и недосмотры ясно-сознающего человека могут быть более полезны, чем полуправды людей, предпочитающих оставаться в неопределенности... Во всех отношениях и по всякому поводу выражение ваших мыслей таким образом, что вас не понимают, плохо“... (См. „Минувшие Годы“, 1908, IX [1]).

Но совсем не так относятся к Уитмэну иные из нынешних толстовцев. Например, Эрнест Кросби, в своей книге „Толстой и его жизнеописание“, подтверждает идеи Толстого именно идеями Уитмэна. Этот

[1]) Беседа Мода с Толстым относится к 90 годам.

толстовец — вернее, социалист толстовской окраски — в своих стихотворениях был подражателем Уитмэна. (См. Эрнест Кросби. „Толстой и его жизнеописание“. Перевод с английского. Изд. „Посредника“, 1911).

К сожалению, мнение Тургенева об Уоте Уитмэне дошло до нас из вторых рук в несколько расплывчатом виде. Беседуя в Париже в 1874 году с одним американским писателем о разных литературных явлениях, Иван Сергеевич сказал, между прочим, что „некоторое время его очень интересовали произведения Уота Уитмэна; он думал, что среди кучи шумихи в них были хорошие зерна“. (См. „Минувшие Годы“, 1908, VIII, стр. 67). Следов этого интереса к Уитмэну в письмах Тургенева до сих пор не обнаружено.

И. Е. Репин об Уоте Уитмэне. В предисловии ко второму изданию моей книжки И. Е. Репин написал о Уитмэне следующее:

„Для меня было неожиданной новостью грандиозное значение юродивого поэта-американца, взошедшего вдруг предо мною вторым солнцем христианства. Божье дитя, Уот Уитмэн в простоте сердца открыл почти наново истинную суть Божественного Слова. Я, конечно, не в силах выразить все значение юродствующего апостола новой демократической религии, но думаю, что эта религия братства, единения, равенства не такая уж новая, как чудится К. И. Чуковскому: она была возвещена всему миру почти двадцать столетий назад. Меня всегда до обиды удручает несправедливость ветренного человечества в отношении к своему истинному Богу и Его апостолам.

„Я надеюсь, что с появлением Уитмэна современному языческому индивидуализму, культу разнузданной личности, наконец-то, нанесен удар. Фридрих Ницше, как Юлиан Отступник, капризно отвернулся от великих мировых завоеваний альтруизма, преклонился пред идолом личности, и небывалый восторг охватил нашу культурную чернь. Плоды индивидуализма — перед нами: хулиганство быстро множится на всех поприщах, попирая все святыни Святого Духа, в бешеной пляске мертве-

цов выставляются два новейших завета: грабеж и самоубийство.

„Но не нужно отчаиваться: это лишь эпидемия, она уже дошла до предела; начинается уже поворот. Недаром появился Уот Уитмэн, поэт соборности, содружества, любви. Скоро культурная чернь увидит всю отвратительную пошлость своих самовлюбленных героев и вся она дружно поклонится Миру Мира!

Тот, кто прошел без любви хоть минуту, на погребенье к себе
он прошел, и завернут он в саван, —

говорил великий поэт демократии.

„Культура и процветание — великое счастье человечества только тогда, когда и самые гениальные силы его не забывают обездоленного брата".

Уот Уитмэн и демократия. В послесловии к третьему изданию моей книжки критик А. Луначарский написал об Уоте Уитмэне следующее:

„Уитмэна принято называть „поэтом демократии". Это не точно и менее всего передает сущность его поэзии.

Непосредственно в понятие демократии входят такие принципы, как равенство и власть большинства, но притом в сфере чисто политической. Демократии, которые мы могли наблюдать до сих пор, были индивидуалистическими.

Их чисто политический характер отмечался так часто, что здесь было бы излишне настаивать на этом. Пресловутое равенство граждан перед законом, на основе которого расцветает ад эксплоатации капиталом пролетария, пресловутое всеобщее избирательное право, нигде не помешавшее фактическому верховодству финансовой олигархии, — осуждены в глазах каждого честного человека, ибо всякому честному человеку должно быть ясно, что фактически существующий в любой стране демократический строй есть хитрая ширма, дань времени, удачно сдерживающая взрыв негодования масс мнимым предоставлением им „власти".

А Уитмэн? — Мощь и грандиозная красота уитмэнизма заключаются в противоположном такой демокра-

тии начале — в коммунизме, коллективизме, которые в психической сфере молодой уитмэнианец Жюль Ромэн назвал унанимизмом, т. е. единодушием.

Слияние человеков. Равенство не песчинок, а равенство братских сил, об'единенных сотрудничеством и, следовательно, дружбой и любовью. Братство, провозглашенное за основное начало, — космическое братство, ибо, обняв человека, оно, по типу братского общества, начинает постигать всю природу. Что особенно странно и величественно, неожиданно, но естественно — даже борьбу склонно оно лишать элемента ненависти и рассматривать как особый вид сотрудничества, в котором из хаоса растет космос.

Тут Уитмэн, тут Верхарн, тут новая поэзия: в победе над индивидом, в торжестве человечества, в смерти эгоизма и воскресении личности, как сознательной волны единого океана, как необходимой своеобразной ноты в единой симфонии. Это ширит сердце, раскрывает его. Уитмэн — человек с раскрытым сердцем. Таких будет много, когда упадут стенки нашей одиночной тюрьмы, тюрьмы индивидуализма и собственности. Быть человеком с раскрытым сердцем и потому стать любимцем природы, снять с нее для себя и паствы своей злое очарование и постичь ее как волшебно-разнообразное единство, не умом постичь, а всем существом почувствовать, — это трудно сейчас, и, может быть, это основа всякой гениальности. У Уитмэна особенно очевидным стал гений, то-есть раскрытость сердца, но она основа подлинного художества и называлась симпатией. Только это — жалкое название, — дело идет о слиянности.

Безбрежно-могучие мысли пантеистов всех времен и народов, экстазы мистиков и счастливых созерцателей, самозабвенный героизм, проповедь и практика любви к ближнему и дальнему, музыка — все это предтечи того всечеловеческого чувства, того космического само- и всесознания, к которому естественно уготован человек, носитель сознания природы, но от которого он оторван личиной своего мещанского „я“. Перечтите большое стихотворение Уитмэна „Тебе“.

Коммунизм принесет с собой, — для иных сразу, для других постепенно, — просияние. Коммунизм поставит человека на свое место. Проснется человек и поймет радостное свое предназначение — быть сознательным и бессмертным завершителем вселенского зодчества. Бессмертным. Человек бессмертен. Только индивид смертен. Кто этого не понимает — тот и Уитмэна не понимает.

В области политики и экономии коммунизм есть борьба против частной собственности со всей ее уродливой государственной, церковной и культурной надстройкой. А в области духа это — стремление сбросить жалкую оболочку „я“ и вылететь из нее существом, окрыленным любовью, бессмертным, бесстрашным, подобным Уитмэну, — стать великаном-всечеловеком“.

Уот Уитмэн и футуристы. Наши русские будущники — эго-футуристы и кубо-футуристы — естественно чувствуют свою близость к этой поэзии будущего. Изо всех поэтов во всем мире они, кажется, признают только Уитмэна. Еще в раннем „Садке Судей“ московский футурист Виктор Хлебников, автор знаменитых „Смехунчиков“, поместил поэму „Зверинец“, далеко не бездарную, где откровенно пародировал Уитмэна. Привожу из этой поэмы отрывок:

Сад, сад, где взгляд зверя больше значит, чем груды прочтенных книг,
Сад, где орел жалуется на что-то, как усталый жаловаться ребенок,
Где олени стучат через решетку рогами,
Где утки одной породы подымают единодушный крик после короткого дождя, точно служа благодарственный молебен утиному божеству,
Где носорог носит в бело-красных глазах неугасимую ярость низверженного царя, и один из всех зверей не скрывает своего презрения к людям, и в нем затаен Иоанн Грозный,
Где грудь сокола напоминает перистые тучи пред грозой,
Где мы начинаем думать, что на свете потому так много зверей, что они умеют по разному видеть Бога [1]).

---

[1]) „Садок Судей“. Кн. I. В. Хлебников. Ор. I. „Зверинец“, стр. 96—102. Я несколько перетасовал эти строки, чтобы выбрать наиболее характерное.

И так дальше. Стоит только сопоставить с этими футуристическими строками ту „Песню о самом себе“, где Уитмэн, воспаряя над пространством и временем, в пророческом бреду охватывает взором всю вселенную, — и его влияние на русского будущника тотчас же определится с несомненностью. Напомню хоть несколько строк этой песни:

Где бобр стучит по болоту хвостом, как веслом,
Где плавник акулы торчит из воды, словно черная щепка,
Где телки пасутся, где гуси хватают короткими хватками пищу,
Где стадо буйволов закрывает собою всю землю на квадратные мили вокруг, и т. д.

Фразу же г. Виктора Хлебникова, что „взгляд зверя значит больше, чем груды прочитанных книг“, Уот Уитмэн повторял неоднократно.

С Уитмэном эту московскую группу сближает ненависть к вульгарной эстетике, тяготение к неуклюжести, шероховатости, грубости.

Московский лучист Михаил Ларионов, проповедуя в „Ослином хвосте“ свои самобытные взгляды, ссылается на Уитмэна, как на своего союзника и пространно цитирует его стихи о подрывателях основ и „первоздателях“ [1]).

В петербургском эго-футуризме такой же культ Уота Уитмэна. Там появился рьяный уитмэнианец, Иван Оредеж, который, подобно Хлебникову, старательно пародирует Уитмэна:

Я создал вселенные, я создам мириады вселенных, ибо они во мне,
Желтые с синими жилками груди старухи прекрасны, как сосцы юной девушки,
О, дай поцеловать мне темные зрачки твои, усталая ломовая лошадь, и т. д.
(„Петербургский Глашатай“, 1912, II).

Это почти подстрочник, и о другой поэме того же писателя, помещенной в альманахе „Оранжевая Урна“, Валерий Брюсов воскликнул:

---

[1]) „Ослиный хвост и Мишень“. Москва. 1913, стр. 85.

— Что же такое эти стихи, как не пересказ „своими словами“ одной из поэм Уота Уитмэна [1]).

Самый талантливый и самобытный из русских футуристов Вл. Маяковский также находится под влиянием Уитмэна, но это влияние осложнено и ослаблено многими другими влияниями. Ближе всего к Уитмэну его поэма „Человек — Вещь“, где имеются такие уитмэнские строки:

Весь я — сплошная невидаль,
Каждое движение мое — огромное, необ'яснимое чудо.
Две стороны обойдите. В каждой дивитесь пятилучию.
Называется „Р у к и“. Пара прекрасных рук.
Заметьте: справа налево двигать могу и слева направо...
У меня под шерстью жилета бьется необычайный комок
и т. д.

Я не говорю, что Маяковский — подражает Уитмэну, но некоторая преемственность чувствований и литературных приемов несомненна. В последнее время все сильнее ощущается близость Маяковского к Уитмэну. В книге Н. Чужака „К диалектике искусства“ (Чита. 1921) читаем:

— „Верхарн, Уитмэн, Маяковский — вот три имени, которые историк поставит рядом“.

Легенда о погребении Уота Уитмэна. В 9-ой книжке „Вестника Знания“ за 1913 год напечатана престранная статейка „Новые факты из жизни Уота Уитмэна“. Факты эти сводятся к тому, что Уитмэн был пьяница, скандалист и развратник, умудрившийся даже собственное свое погребение превратить в публичный скандал. О погребении Уитмэна повествуется, со слов очевидца, следующее: на площади, обычно занимаемой бродячими цирками, выстроили три павильона; в одном сварили для общего пользования национальное американское кушанье, в другом поместили спиртные напитки в третьем поставили гроб с останками поэта. Три духовых оркестра играли по очереди. В церемонии погребения участвовало 3.500 человек, при чем целой толпой явились на торжество педерасты, ибо, увы, поэт был не чужд и противоестественных пороков. Среди

---

[1]) „Русская Мысль“, 1913, март.

педерастов привлекал к себе наибольшее внимание Питер Конелли, парень 20—22 лет, выдававшийся своей красотой. Этот Питер Конелли, по профессии трамвайный кондуктор, пользовался исключительным вниманием Уитмэна. Всем присутствующим предназначались дыни, сложенные тут же огромными грудами. Присутствующие перепились. Состоялось до шестидесяти драк, при чем полиция арестовала около пятидесяти лиц. Толпа гикала, свистала, кричала. Даже несшие гроб были пьяны.

Опровергать ли этот фантастический вздор? Русский журнал перепечатал его со страниц французского журнала „Mercure de France", но как мог „Mercure de France" запятнать свои страницы такой клеветой, не в силах понять даже тот, кто помнит, какие чудовищные измышления печатал этот журнал о России и русской словесности? Впоследствии в „Mercure de France" появились опровержения этой статейки, но до „Вестника Знания" они не дошли. „Вестник Знания" не только не исправил своей ошибки, но прибавил от себя около дюжины новых. Он уверял, например, будто Уитмэн был каменщик, будто он умер в 1895 году и т. д.

Уитмэн в истории американской словесности. По какой-то непонятной причине русский читатель весьма беззаботен по части американской словесности. Кроме Эдгара По, Марка Твэна, Лонгфелло да Джэка Лондона, он, кажется, не знает никого: ни Уитьера, ни Лауэля, ни Холмса, ни Эмерсона, ни Торо, ни Генри Джэмса, ни О. Генри. Давно уже у нас ощущается надобность в серьезном труде по истории американской литературы. Весьма кстати в 1914 году вышла в русском переводе маленькая книжка В. Трента и Дж. Эрскина „Великие американские писатели" (издание П. И. Певина, бесплатное приложение к журналу „Современник"). Книжка дельная, местами талантливая; перевод, к сожалению, ремесленный.

Уоту Уитмэну в ней посвящена особая статья, подчеркивающая пророческое значение этого поэта. Авторы приводят образцы его творчества, указывают на духов-

ное его родство с Эмерсоном и оправдывают его притязание почитаться национальным поэтом Америки.

„В его стихах, в его взглядах на жизнь, — говорится, между прочим, в статье, — Америка явила себя миру в самом величественном своем виде, и надо сказать, что она еще не доросла до его гордой, хотя и несколько туманной мечты о ней.

Но и в Старом Свете он имеет свою почву: всякая революция, стремящаяся к улучшению условий человеческой жизни, найдет в нем своего глашатая, а в его стихах — свои боевые кличи и лозунги“.

Космическое сознание Уитмэна. Нам уже случалось упоминать любопытный труд канадского доктора Ричарда Мориса Бекка „Космическое сознание“, где Уитмэн сопоставляется с Буддой, Иисусом Христом, Магометом и другими основателями мировых религий. Таких неумеренных почитателей Уитмэна один английский поэт язвительно назвал уитманьяками. В 1914 году эта „уитманиакальная“ книга вышла в русском переводе в издательстве „Новый Человек“. Автор затеял собрать и исследовать всевозможные человеческие документы, относящиеся к „озарениям“ и „просветлениям“ избранных экстатических душ, вышедших за грани обычного сознания, внезапно уверовавших в божественность мира, в бессмертие души, глянувших из времени в вечность. Коллекция у него получилась богатая, и выводы, к которым он пришел, любопытны. Он, между прочим, указывает, что чаще всего случаи „озарения“ бывают у 33-летних, 35-летних мужчин, т.-е. именно в том самом возрасте, когда и с Уитмэном произошел душевный переворот. Он цитирует следующие строки Уитмэна:

Как в головокружении мгновенно
Другое солнце нестерпимым блеском слепит меня,
И все миры познал я,
Ярчайшие, неведомые сферы,
Одно мгновение будущей земли — земли небес, —

и не без остроумия указывает, что Уитмэн, преобра-

зившись, обретя как бы новую душу, любил в себе и свою прежнюю личность, и „ветхого человека“.

„Уитмэн, быть может, первый человек, который, обладая полным космическим сознанием, преднамеренно восстал против него, победил его и сделал его своим рабом... Уитмэн ясно видел, что, хотя эта новая способность и божественна, однако, она не сверх'естественнее, чем зрение, слух, вкус и осязание“.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

Стран.

Предисловие . . . . 7—8
Уот Уитмэн (характеристика) . . . . 10—80
Листья травы . . . . 81—153
Из дневника . . . . 155—167
Будущие пути демократии . . . . 169—231
Уитмэн в русской литературе. . . . . 233—260

15-я Госуд. тип. Звенигор., 11.

